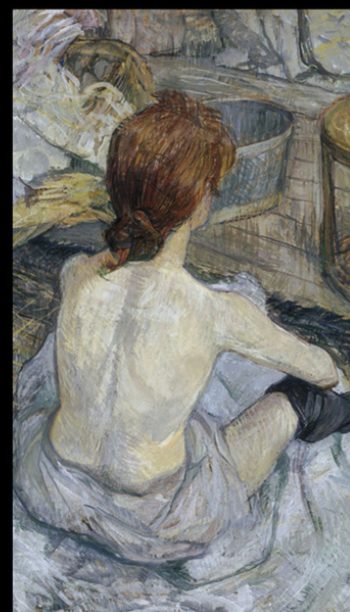
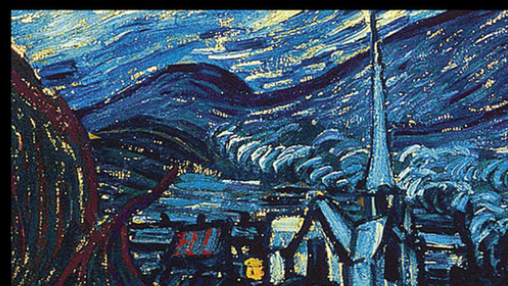




АНРИ ПЕРРЮШО ВАН ГОГ, МАНЕ ТУЛУЗ-ЛОТРЕК



БИОГРАФИИ
ВЕЛИКИХ
МАСТЕРОВ



ЖИЗНЬ В ИСКУССТВЕ (АСТ)

Анри Перрюшо

Ван Гог, Мане, Тулуз-Лотрек

«ФТМ»

«Издательство АСТ»

1959, 1958, 1955

УДК 75(092)
ББК 85.143(3)-8

Перрюшо А.

Ван Гог, Мане, Тулуз-Лотрек / А. Перрюшо — «ФТМ»,
«Издательство АСТ», 1959, 1958, 1955 — (Жизнь в искусстве
(АСТ))

Автор книги – известный французский писатель Анри Перрюшо, исследователь творчества европейских художников-импрессионистов и постимпрессионистов, таких как Поль Сезанн, Огюст Ренуар, Винсент Ван Гог, Поль Гоген, Анри де Тулуз-Лотрек, Жорж-Пьер Сёра. Биографии-романы А. Перрюшо всегда достоверны и документированы, но это не мешает им быть живыми и волнующими, ярко воссоздающими облик художников и эпоху, в которой они жили и творили. Впервые книги Анри Перрюшо в сборнике, в который вошли биографии самых известных художников-постимпрессионистов: Винсента Ван Гога, Эдуара Мане, Анри де Тулуз-Лотрека! В издании представлены репродукции картин Ван Гога, Мане, Тулуз-Лотрека, а также картин других художников.

УДК 75(092)
ББК 85.143(3)-8

© Перрюшо А., 1959, 1958, 1955
© ФТМ, 1959, 1958, 1955
© Издательство АСТ, 1959, 1958, 1955

Содержание

Ван Гог	6
Часть первая	6
I. Безмолвное детство	6
II. Свет зари	12
III. Изгнание	16
IV. Защитник углекопов	26
V. «В моей душе есть нечто, но что?»	40
Часть вторая	49
I. Рука на огне	49
Конец ознакомительного фрагмента.	53

Анри Перрюшо
Ван Гог, Мане, Тулуз-Лотрек.
Биографии великих мастеров

© Hachette Littératures, 1959, „LA VIE DE TOULOUSE-LAUTREC“

© Hachette Littératures, 1958, „LA VIE DE VAN GOGH“

© Hachette Littératures, 1955 Все права защищены

© ООО «Издательство АСТ»



Ван Гог

Часть первая Бесплодная смоковница (1853–1880)

I. Безмолвное детство

Господи, я был по ту сторону бытия и в ничтожестве своем наслаждался бесконечным покоем; меня исторгли из этого состояния, чтобы вытолкнуть в странный жизненный карнавал.
Поль Валери

Нидерланды – это не только необозримое поле тюльпанов, как часто полагают иностранцы. Цветы, радость жизни, воплощенная в них, мирное и красочное веселье, неразрывно в силу традиции связанное в нашем сознании с видами ветряных мельниц и каналов, – все это характерно для прибрежных областей, частично отвоеванных у моря и обязанных своим расцветом крупным портам. Эти области – на севере и на юге – есть собственно Голландия. Кроме того, Нидерланды насчитывают еще девять провинций: у всех у них своя прелесть. Но эта прелесть иного рода – подчас она более сурова: за полями тюльпанов расстилаются бедные земли, безотрадные места.

Среди этих областей едва ли не самая обездоленная та, что зовется Северным Брабантом и которую образуют тянущиеся чередой вдоль бельгийской границы луга и леса, заросшие вереском, и песчаные пустоши, торфяники и болота, – провинция, отделенная от Германии одной лишь узкой, неровной полоской Лимбурга, по которой протекает река Маас. Ее главный город – Хертогенбос, где родился Иероним Босх, художник XV века, известный своей причудливой фантазией. Почвы в этой провинции скудные, много необработанных земель. Здесь часто идут дожди. Низко нависают туманы. Сырость пронизывает все и вся. Здешние жители – по большей части крестьяне или ткачи. Напоенные влагой луга позволяют им широко развивать скотоводство. В этом равнинном краю с редкими грядами холмов, черными и белыми коровами на лугах и унылой цепью болот можно увидеть на дорогах тележки с собачьей упряжкой, которые везут в города – Берген-оп-Зоом, Бреда, Зевенберген; Эйндховен – медные бидоны с молоком.

Жители Брабанта в подавляющем большинстве – католики. Лютеране не составляют и десятой части здешнего населения. Оттого-то и приходы, которыми ведает протестантская церковь, самые убогие в этом краю.

В 1849 году в один из таких приходов – Гроот-Зюндерт, – небольшой поселок, расположенный у самой бельгийской границы, километрах в пятнадцати от Розендала, где находилась голландская таможня по пути Брюссель – Амстердам, был назначен 27-летний священник Теодор Ван Гог. Приход этот весьма незавиден. Но молодому пастору трудно рассчитывать на что-то лучшее: он не обладает ни блестящими способностями, ни красноречием. Его тяжело-весно-монотонные проповеди лишены полета, это всего лишь незамысловатые риторические упражнения, банальные вариации на избитые темы. Правда, он серьезно и честно относится к своим обязанностям, но ему недостает вдохновения. Нельзя также сказать, чтобы он отличался особой истовостью веры. Вера его искренна и глубока, но ей чужда подлинная страсть.

Кстати сказать, лютеранский пастор Теодор Ван Гог – сторонник либерального протестантизма, центром которого является город Гронинген.

Этот ничем не примечательный человек, с аккуратностью клерка исполняющий обязанности священника, отнюдь не лишен достоинств. Доброта, спокойствие, радушная приветливость – все это написано на его лице, чуть детским, озаренным мягким, простодушным взглядом. В Зюндерте католики и протестанты одинаково ценят его любезность, отзывчивость, постоянную готовность услужить. В равной мере наделенный добрым нравом и приятной внешностью, это поистине «славный пастор» (*de mooi domine*), как называют его за просто, с едва уловимым оттенком пренебрежения прихожане.

Однако обыденность облика пастора Теодора Ван Гога, скромное существование, ставшее его уделом, прозябание, на которое он обречен собственной заурядностью, могут вызывать известное удивление – ведь зюндертский пастор принадлежит если не к знаменитому, то, уж во всяком случае, к известному нидерландскому роду. Он мог бы гордиться своим благородным происхождением, семейным гербом – веткой с тремя розами. Начиная с XVI века представители рода Ван Гогов занимали видные посты. В XVII веке один из Ван Гогов был главным казначеем Нидерландской унии. Другой Ван Гог, служивший вначале генеральным консулом в Бразилии, затем казначеем в Зеландии, в 1660 году в составе голландского посольства выезжал в Англию приветствовать короля Карла II в связи с его коронацией. Позднее некоторые из Ван Гогов становились церковниками, других влекли к себе ремесла или торговля произведениями искусства, третьих – военная служба. Как правило, они отлично преуспевали на избранном поприще. Отец Теодора Ван Гога – влиятельный человек, пастор крупного города Бреда, да и прежде, каким бы приходом он ни ведал, его всюду хвалили за «образцовую службу». Он потомок трех поколений золотопрядильщиков.

Его отец – дед Теодора, – поначалу избравший ремесло прядильщика, впоследствии стал чтецом, а затем и священником при монастырской церкви в Гааге. Его сделал своим наследником двоюродный дед, который в юности – он умер в самом начале века – служил в королевской швейцарской гвардии в Париже и увлекался скульптурой. Что же касается последнего поколения Ван Гогов – а у бредского священника было одиннадцать детей, хотя один ребенок умер еще в младенчестве, – то, пожалуй, самая незавидная участь выпала на долю «славного пастора», если не считать трех его сестер, оставшихся в старых девах. Две другие сестры вышли замуж за генералов. Его старший брат Иоганнес успешно делает карьеру в морском ведомстве – не за горами уже вице-адмиральские галуны. Три других его брата – Хендрик, Корнелиус Маринус и Винсент – ведут крупную торговлю произведениями искусства. Корнелиус Маринус обосновался в Амстердаме, Винсент содержит в Гааге картинную галерею, самую популярную в городе и тесно связанную с парижской фирмой «Гупиль», известной во всем мире и повсюду имеющей свои филиалы.

Ван Гоги, живя в достатке, почти всегда достигают преклонного возраста, к тому же у них у всех крепкое здоровье. Бредский священник, судя по всему, легко несет бремя своих шестидесяти лет. Однако пастор Теодор и в этом невыгодно отличается от своей родни. И трудно предположить, что ему когда-либо удастся удовлетворить, если только она ему свойственна, страсть к путешествиям, столь характерную для его родни. Ван Гоги охотно выезжали за границу, и кое-кому из них даже случалось брать себе в жены чужестранок: бабушка пастора Теодора была фламандкой из города Малин.

В мае 1851 года, через два года после приезда в Гроот-Зюндерт, Теодор Ван Гог задумал на пороге тридцатилетия вступить в брак, но он не видел нужды искать себе жену за пределами страны. Он женится на голландке, родившейся в Гааге, – Анне Корнелии Карбентус. Дочь придворного мастера-переплетчика, она тоже родом из почтенной семьи – среди ее предков числится даже епископ Утрехтский. Одна из ее сестер замужем за братом пастора Теодора – Винсентом, – тем самым, что торгует картинами в Гааге.

Анна Корнелия, на три года старше мужа, почти ни в чем не схожа с ним. Да и род ее куда менее крепкого корня, чем мужнин. У одной из ее сестер бывают припадки эпилепсии, что свидетельствует о тяжелой нервной наследственности, сказывающейся и у самой Анны Корнелии. От природы нежная и любящая, она подвержена неожиданным вспышкам гнева. Живая и добрая, она часто бывает резка; деятельная, неутомимая, не знающая покоя, она вместе с тем на редкость упряма. Женщина пытливая и впечатлительная, с несколько беспокойным характером, она ощущает – и это составляет одну из приметных ее черт – сильнейшую склонность к эпистолярному жанру. Она любит откровенничать, пишет длинные письма. «Ik maak vast een woordje klaar» – от нее часто можно услышать эти слова: «Пойду-ка я черкну несколько строчек». В любую минуту ее может вдруг охватить желание взять в руки перо.

Пасторский дом в Зюндерте, куда тридцати двух лет от роду вошла хозяйкой Анна Корнелия, – одноэтажное кирпичное здание. Фасадом он выходит на одну из улиц поселка – совершенно прямую, как и все прочие. Другая сторона обращена в сад, где растут плодовые деревья, ели и акации, а вдоль дорожек – резеда и левкои. Вокруг поселка до самого горизонта, смутные очертания которого теряются в сером небе, тянутся бескрайние песчаные равнины. То тут, то там – скудный ельник, унылая, заросшая вереском пустошь, хижина с замшелой крышей, тихая река с перекинутым через нее мостом, дубовая рощица, подстриженные ивы, подернутая рябью лужа. Край торфяников дышит покоем. Порой можно подумать, будто жизнь здесь и вовсе остановилась. Затем вдруг пройдет женщина в чепце или крестьянин в фуражке, а не то на высокой кладбищенской акации заверещит сорока. Жизнь не рождает здесь никаких трудностей, не ставит вопросов. Дни текут, неизменно схожие один с другим. Кажется, жизнь раз и навсегда с незапамятных времен уложена в рамки давних обычаев и нравов, божьих заповедей и закона. Пусть она однообразна и скучна, но зато в ней надежность. Ничто не всколыхнет ее мертвящего покоя.

* * *

Шли дни. Анна Корнелия привыкла к жизни в Зюндерте.

Жалованье пастора соответственно его положению было весьма скромным, но супруги довольствовались малым. Иногда им даже удавалось помогать другим. Они жили в добром согласии, часто вдвоем навещали больных и бедняков. Сейчас Анна Корнелия ждет ребенка. Если родится мальчик, его нарекут Винсентом.

И вот действительно 30 марта 1852 года Анна Корнелия произвела на свет мальчика. Его назвали Винсентом.

Винсентом – как его деда, пастора в Бреде, как гаагского дядюшку, как того дальнего родственника, который в XVIII веке служил в швейцарской гвардии в Париже. Винсент означает Победитель. Да будет он гордостью и отрадой семьи, этот Винсент Ван Гог!

Но увы! Через шесть недель ребенок умер.

Потянулись дни, полные отчаяния. В этом унылом краю ничто не отвлекает человека от его горя, и оно долго не утихает. Прошла весна, но рана не зарубцевалась. Счастье уже, что лето принесло надежду в объятый тоской пасторский дом: Анна Корнелия снова забеременела. Родит ли она другое дитя, чье появление смягчит, притупит ее безысходную материнскую боль? И будет ли это мальчик, способный заменить родителям того Винсента, на которого они возлагали столько надежд? Тайна рождения неисповедима.

Серая осень. Потом зима, мороз. Солнце медленно подымается над горизонтом. Январь. Февраль. Все выше в небе солнце. Наконец – март. Ребенок должен родиться в этом месяце, ровно через год после рождения брата... 15 марта. 20 марта. День весеннего равноденствия. Солнце вступает в знак Овна, свою, по утверждению астрологов, излюбленную обитель. 25 марта, 26-е, 27-е... 28-е, 29-е... 30 марта 1853 года, ровно через год – день в день – после

появления на свет маленького Винсента Ван Гога, Анна Корнелия благополучно родила второго сына. Ее мечта сбылась.

И этот мальчик, в память о первом, будет наречен Винсентом! Винсентом Виллемом. И он также будет зваться: Винсент Ван Гог.

* * *

Постепенно пасторский дом наполнился детьми. В 1855 году у Ван Гогов родилась дочь Анна. 1 мая 1857 года появился на свет еще мальчик. Его назвали по отцу Теодором. Вслед за маленьким Тео появились две девочки – Елизабет Хьюберта и Вильгельмина – и один мальчик, Корнелиус, младший отпрыск этого многодетного семейства.

Пасторский дом огласился детским смехом, плачем и щебетанием. Не раз пастору приходилось взывать к порядку, требовать тишины, чтобы обдумать очередную проповедь, поразмыслить над тем, как лучше истолковать ту или иную строфу Ветхого или Нового Завета. И в низеньком домике водворялась тишина, лишь изредка прерываемая сдавленным шепотом. Простое, бедное убранство дома, как и прежде, отличалось строгостью, словно постоянно напоминая о существовании Бога. Но, несмотря на бедность, это был поистине бюргерский дом. Всем своим обликом он внушал мысль об устойчивости, прочности господствующих нравов, о незыблемости существующего порядка, к тому же – сугубо голландского порядка, рассудочного, четкого и приземленного, равно свидетельствующего о некоторой чопорности и о трезвости жизненной позиции.

Из шестерых детей пастора только одного не нужно было заставлять молчать – Винсента. Неразговорчивый и угрюмый, он сторонился братьев и сестер, не принимал участия в их играх. В одиночестве бродил Винсент по окрестностям, разглядывая растения и цветы; иногда, наблюдая за жизнью насекомых, растягивался на траве у самой реки, в поисках ручейков или птичьих гнезд обшаривал леса. Он завел себе гербарий и жестяные коробки, в которых хранил коллекции букашек. Он знал наперечет названия – подчас даже латинские – всех насекомых. Винсент охотно общался с крестьянами и ткачами, расспрашивал их, как работает ткацкий станок. Подолгу наблюдал за женщинами, стиравшими на реке белье. Даже предаваясь детским забавам, он и тут выбирал игры, при которых можно уединиться. Любил он сплетать шерстяные нити, восторгаясь сочетанием и контрастом ярких цветов. Любил он и рисовать. Восьми лет от роду Винсент принес матери рисунок – он изобразил на нем котенка, взбирающегося на садовую яблоню. Примерно в те же годы его как-то застали за новым занятием – он пытался вылепить из горшечной глины слона. Но стоило ему заметить, что за ним наблюдают, как он тотчас же расплющил вылепленную фигурку. Только такими безмолвными играми и забавлялся странный мальчуган. Не раз наведывался он к стенам кладбища, где покоился его старший брат Винсент Ван Гог, о котором он знал от родителей, – тот, чьим именем его нарекли.

Братья и сестры были бы рады сопровождать Винсента в его прогулках. Но они не решились просить его о подобной милости. Они побаивались своего нелюдимого брата, в сравнении с ними казавшегося крепышом. От его приземистой, костлявой, чуть неуклюжей фигуры веяло необузданной силой. Что-то тревожное угадывалось в нем, сказываясь уже во внешности. В лице его можно было заметить некоторую асимметрию. Светлые рыжеватые волосы скрывали неровность черепа. Покатый лоб. Густые брови. А в узких щелках глаз, то голубых, то зеленых, с угрюмым, печальным взглядом, временами вспыхивал мрачный огонь.

Конечно, Винсент куда больше походил на мать, чем на отца. Подобно ей, он выказывал упорство и своеобразие, доходящее до упрямства. Неуступчивый, непослушный, с трудным, противоречивым характером, он следовал исключительно собственным прихотям. К чему он стремился? Никто не знал этого, и, уж верно, меньше всех он сам. Он был неспокоен, как вулкан, временами заявляющий о себе глухим рокотом. Нельзя было усомниться в том, что он

любит своих родных, но любой пустяк, любая безделица могли вызвать у него приступ ярости. Все любили его. Баловали. Прощали ему странные выходки. К тому же он первый раскаивался в них. Но он не был властен над собой, над этими неукротимыми порывами, которые вдруг захлестывали его. Мать, то ли от избытка нежности, то ли узнавая в сыне самое себя, склонна была оправдывать его вспыльчивость. Иногда в Зюндерт наезжала бабушка – жена бредского пастора. Как-то раз она стала свидетельницей одной из выходок Винсента. Не говоря ни слова, она схватила внука за руку и, угостив его подзатыльником, выставила за дверь. Но невестка сочла, что бредская бабушка превысила свои права. За весь день она не разжала губ, и «славный пастор», желая, чтобы все позабыли об инциденте, распорядился заложить маленькую бричку и предложил женщинам покататься по лесным дорожкам, окаймленным цветущим вереском. Вечерняя прогулка по лесу способствовала примирению – великолепие заката развеяло обиду молодой женщины.

Впрочем, неуживчивый нрав юного Винсента проявлялся не только в родительском доме. Поступив в коммунальную школу, он прежде всего выучился у крестьянских ребят, сыновей местных ткачей, всевозможным ругательствам и сыпал ими напрадую, стоило ему только выйти из себя. Не желая подчиняться никакой дисциплине, он выказал такую необузданность, да и с соучениками вел себя так вызывающе, что пастору пришлось взять его из школы.

Однако в душе угрюмого паренька таились скрытые, робкие ростки нежности, дружеской чуткости. С каким старанием, с какой любовью маленький дикарь рисовал цветы и потом дарил рисунки своим приятелям. Да, он рисовал. Очень много рисовал. Животных. Пейзажи. Вот два его рисунка, относящиеся к 1862 году (ему было девять лет): на одном из них изображена собака, на другом – мост. И еще он читал книги, читал без усталости, без разбору пожирая все, что только попадалось ему на глаза.

Столь же неожиданно он страстно привязался к своему брату Тео, на четыре года его моложе, и тот стал его постоянным спутником в прогулках по окрестностям Зюндерта в редкие часы досуга, которые оставляла им гувернантка, не так давно приглашенная пастором для воспитания детей. А между тем братья и вовсе не схожи между собой, разве что волосы у обоих одинаково светлые и рыжеватые. Уже сейчас видно, что Тео пошел в отца, унаследовав его кроткий нрав и приятную внешность. Спокойствием, тонкостью и мягкостью черт лица, хрупкостью сложения он являет собой странный контраст с угловатым братом-крепышом. Между тем в унылом безобразии торфяников и равнин брат открыл ему тысячу тайн. Он научил его видеть. Видеть насекомых и рыб, деревья и травы. Зюндерт обхвачен дремотой. Дремотой скована вся бескрайняя недвижная равнина. Но стоит Винсенту заговорить, и все вокруг оживает, и обнажается душа вещей. Пустынная равнина наполняется тайной и властной жизнью. Кажется, что природа замерла, но в ней беспрерывно совершается работа, беспрестанно что-то обновляется и зреет. Трагический облик вдруг обретают подстриженные ивы, с их кривыми, узловатыми стволами. Зимой они охраняют равнину от волков, чей голодный вой пугает по ночам крестьянок. Тео слушает рассказы брата, ходит с ним на рыбалку и удивляется Винсенту: всякий раз, когда рыба клюет, он, вместо того чтобы радоваться, огорчается.

Но, по правде сказать, Винсент огорчился по любому поводу, впадая в состояние мечтательной прострации, из которого выходил лишь под влиянием гнева, совершенно несообразного с породившей его причиной, или порывов неожиданной, необъяснимой нежности, которую братья и сестры Винсента принимали с робостью и даже с опаской.

Вокруг бедный пейзаж, бескрайность простора, который открывается взору за раскинувшейся под низкими облаками равниной; безраздельное царство серого цвета, поглотившего землю и небо. Темные деревья, черные торфяные болота, щемящая грусть, лишь изредка смягчаемая бледной улыбкой цветущего вереска. А в пасторском доме – скромный семейный очаг, сдержанное достоинство в каждом жесте, строгость и воздержание, суровые книги, учившие, что судьба всего живого предопределена и тщетны все попытки спастись, толстый черный

фолиант – Книга Книг, со словами, принесенными из глубины веков, которые и суть Слово, тяжелый взгляд Господа Бога, следящего за каждым твоим движением, этот вечный спор с Все-вышним, которому надо подчиняться, но против которого хочешь восстать. А внутри, в душе, – столько вопросов, бурлящих, никак не отливающих в слова, все эти страхи, бури, эта невыраженная и невыразимая тревога – боязнь жизни, сомнения в самом себе, порывы, внутренний разлад, смутное чувство вины, неясное ощущение, что ты обязан что-то искупить...

На высокой кладбищенской акации свила гнездо сорока. Быть может, изредка она садится на могилку маленького Винсента Ван Гога.

* * *

Когда Винсенту пошел двенадцатый год, отец решил определить его в пансион. Он остановил свой выбор на учебном заведении, которое содержал в Зевенбергене некий господин Провили.

Зевенберген, небольшой городок, расположен между Розендаалем и Дордрехтом, среди широких лугов. Винсента встретил здесь знакомый пейзаж. В заведении господина Провили он на первых порах стал мягче, общительней. Однако послушание не сделало его блестящим учеником. Читал он еще больше прежнего, с горячей, неутолимой любознательностью, одинаково распространяющейся на все – от романов до философских и богословских книг. Однако науки, преподававшиеся в заведении господина Провили, не вызывали у него такого же интереса.

Два года Винсент провел в школе Провили, затем полтора года – в Тилбурге, где продолжил свое образование.

В Зюндерт он приезжал лишь на каникулы. Здесь Винсент, как и прежде, много читал. Он еще больше привязался к Тео и неизменно брал его с собой в долгие прогулки. Любовь его к природе несколько не ослабела. Он бродил по окрестностям неустанно, меняя направление, и часто, застыв на месте, оглядывался кругом, погруженный в глубокое раздумье. Так ли уж сильно он изменился? По-прежнему его обуревают вспышки гнева. Та же резкость в нем, та же скрытность. Не вынося чужих взглядов, он подолгу не решается выйти на улицу. Головные боли, рези в желудке омрачают его отрочество. Он то и дело ссорится с родителями. Сколь часто, отправляясь вдвоем навестить больного, священник и его жена останавливаются где-нибудь на безлюдной дороге и заводят разговор о своем старшем сыне, встревоженные его переменчивым нравом и неуступчивым характером. Они озабочены тем, как сложится его будущее.

В здешних краях, где даже католики не избегли влияния кальвинизма, люди привыкли ко всему относиться серьезно. Развлечения здесь редки, суетность – под запретом, любые забавы подозрительны. Мерное течение дней нарушают лишь редкие семейные праздники. Но как сдержанно их веселье! Радость жизни не проявляется ни в чем. Эта сдержанность породила могучие натуры, но она же оттеснила в тайники души силы, которые в один прекрасный день, вырвавшись наружу, способны развязать бурю. Может быть, Винсенту недостает серьезности? Или, напротив, он слишком серьезен? Видя странный характер сына, отец, возможно, задумывался над тем, не наделен ли Винсент чрезмерной серьезностью, не слишком ли близко к сердцу он принимает все – каждый пустяк, каждый жест, каждое замечание, оброненное кем-нибудь, каждое слово в каждой прочитанной книге. Страстная устремленность, жажда Абсолюта, присущие этому непокорному сыну, смущают отца. Даже его вспышки гнева и те – результат опасного прямотушия. Как он будет исполнять свой долг в этой жизни, его возлюбленный сын, чьи странности в одно и то же время и привлекают, и раздражают людей? Как ему стать мужчиной – степенным, всеми уважаемым, который не уронит своего достоинства и, умело поведя дела, прославит свой род?

Вот как раз Винсент возвращается с прогулки. Он шагает, понунив голову. Сутулится. Соломенная шляпа, прикрывающая коротко стриженные волосы, затеняет лицо, в котором уже сейчас нет ничего юношеского. Над насупленными бровями его лоб бороздят ранние морщины. Он невзрачен, неуклюж, почти уродлив. И все же... И все же от этого угрюмого юноши веет своеобразным величием: «В нем угадывается глубокая внутренняя жизнь». Что же ему суждено совершить на своем жизненном поприще? И прежде всего, кем сам он хотел бы стать?

Этого он не знал. Он не изъяслял никакой склонности к той или иной профессии. Работать? Да, работать надо, вот и все. Труд – необходимое условие человеческого бытия. В своей семье он найдет набор прочных традиций. Он пойдет по стопам своего отца, своих дядей, поступит, как все.

Отец Винсента – священник. Трое братьев отца успешно торгуют произведениями искусства. Винсент хорошо знает своего дядю и тезку – Винсента, или дядю Сента, как нарекли его дети, – гаагского торговца картинами, который ныне, уйдя от дел, живет в Принсенхаге, неподалеку от города Бреда. В конце концов он решился продать парижской фирме «Гупиль» свою картинную галерею, которая благодаря этому превратилась в гаагский филиал этой фирмы, простиравшей свое влияние на оба полушария – от Брюсселя до Берлина, от Лондона до Нью-Йорка. В Принсенхаге дядюшка Сент живет в роскошно обставленной вилле, куда он перевоз лучшие из своих картин. Раз-другой пастор, несомненно глубоко восхищавшийся братом, возил своих детей в Принсенхаге. Винсент подолгу, словно завороченный простаивал перед холстами, перед новым волшебным миром, впервые открывшимся ему, перед этим образом природы, чуть отличным от нее самой, перед этой реальностью, заимствованной у действительности, но существующей независимо от нее, перед этим прекрасным, упорядоченным и ярким миром, где властью искушенного глаза и умелой руки обнажена скрытая душа вещей. Никто не знает, о чем тогда размышлял Винсент, думал ли он о том, что сопутствовавшая его детству кальвинистская суровость плохо сочетается с этим новым ослепительным миром, столь непохожим на скупые пейзажи Зюндерта, и не столкнулись ли в его душе смутные этические сомнения с чувственной красотой искусства?

Ни слова не дошло до нас об этом. Ни единой фразы. Ни единого намека.

Между тем Винсенту исполнилось шестнадцать лет. Надо было определить его будущее. Пастор Теодор созвал семейный совет. И когда заговорил дядюшка Сент, предложив племяннику пойти по его стопам и, подобно ему самому, снискать на этой стезе блистательный успех, все поняли, что дядюшке будет нетрудно облегчить юноше первые шаги – он даст Винсенту рекомендацию к господину Терстеху, директору гаагского филиала фирмы «Гупиль». Винсент принял предложение дяди.

Винсент будет продавцом картин.

II. Свет зари

Небо вверху над крышей столь безмятежно сине...
Поль Верлен

Да, Винсент будет таким, как все.

Письма, которые присылал в Зюндерт господин Терстех, окончательно успокоили Ван Гогов относительно судьбы старшего сына. Их тревога была напрасной: стоило Винсенту стать на собственные ноги, и он понял, чего от него ждут. Трудолюбивый, добросовестный, аккуратный, Винсент – образцовый служащий. И еще: несмотря на свою угловатость, он на редкость ловко свертывает и разворачивает холсты. Он знает наперечет все картины и репродукции, офорты и гравюры в магазине, и отличная память в сочетании с умелыми руками, без сомнения, сулит ему верную карьеру на поприще коммерции.

Он совсем непохож на прочих служащих: силясь угодить клиентам, они в то же время плохо скрывают свое равнодушие к товару, которым торгуют. Но Винсент живо интересуется картинами, проходящими через фирму «Гупиль». Случается, он даже позволяет себе оспаривать мнение того или иного любителя, сердито бормоча что-то под нос и не проявляя должной услужливости. Но все это со временем уладится. Это лишь мелкий недостаток, который он, надо полагать, скоро изживет, результат неопытности, долгого одиночества. Фирма «Гупиль» берет на комиссию только те картины, которые высоко котируются на рынке искусств – картины академиков, лауреатов Римской премии, известных мастеров вроде Луи-Пьера Анрикель-Дюпона или Луиджи Каламатта, живописцев и граверов, чье творчество и талант поощряются публикой и властями. Война 1870 года, вспыхнувшая между Францией и Германией, побудила фирму «Гупиль» наряду с бесчисленными ню, сентиментальными или нравоучительными сценками, вечерними пасторальями и идиллическими прогулками на лоне природы выставить также кое-какие скороспелые образцы батального жанра.

Винсент разглядывал, изучал, анализировал эти тщательно отделанные картины. Его волновало все, что относилось к искусству. Сплошь и рядом его охватывало чувство восторга. Он был преисполнен почтения к фирме «Гупиль», гордившейся своей прочной репутацией. Все или почти все восхищало его. Казалось, его восторженность не знает меры. Впрочем, если не считать того раза в доме дядюшки Сента в Принсенхаге, он ведь не видел раньше произведений искусства. Он ровным счетом ничего не знает об искусстве. Так неожиданно он окунулся в этот новый мир! Винсент жадно осваивал его. В часы досуга он посещал музеи, изучал творчество старых мастеров. В те воскресенья, когда он не бродил по залам какого-нибудь музея, он читал или же отправлялся в Схевенинген в окрестностях Гааги, который в ту пору был всего-навсего тихим рыбацким поселком. Его привлекали рыбаки, ходившие в море за сельдью, и мастера, плетущие сети.

Винсент поселился в добропорядочной гаагской семье, жизнь его текла спокойно и безмятежно. Работа ему нравилась. Казалось, чего еще желать?

Его отец, покинув Зюндерт, обосновался в Хелфоурте, другом брабантском городке неподалеку от Тилбурга, где снова получил столь же убогий приход. В августе 1872 года Винсент в дни отпуска наведился в Ойстервейк, близ Хелфоурта, где учился его брат Тео. Он был поражен умом этого пятнадцатилетнего мальчика, преждевременно возмужавшего под влиянием сурового воспитания. Возвратившись в Гаагу, Винсент вступил с ним в переписку: в письмах он рассказывал брату о своей службе, о фирме «Гупиль». «Это великолепное дело, – писал он, – чем дольше служишь, тем лучше хочется работать».

Вскоре и Тео пошел по стопам старшего брата. Семья бедна, и дети должны сами зарабатывать себе на жизнь. Тео не исполнилось и шестнадцати лет, когда в самом начале 1873 года он выехал в Брюссель и поступил на службу в бельгийский филиал фирмы «Гупиль».

Винсент тоже покинул Голландию. В награду за его рвение фирма «Гупиль» перевела его с повышением в лондонский филиал. Вот уже четыре года, как он служит в фирме «Гупиль». В британской столице его опередило рекомендательное письмо господина Терстеха, полное одних добрых слов. Период обучения торговца картинами завершен.

* * *

В Лондон Винсент приехал в мае.

Ему двадцать лет. У него все тот же пристальный взгляд, та же чуть угрюмая складка рта, но тщательно выбритое, юношески округлое лицо словно посветлело. Все же нельзя сказать, что Винсент излучает веселье или хотя бы жизнерадостность. Его широкие плечи и бычий затылок создают ощущение силы, непробудившейся мощи.

Однако Винсент счастлив. Здесь у него несравненно больше досуга, чем в Гааге: он приступает к работе лишь в девять часов утра, а в субботние вечера и по воскресеньям он и вовсе свободен, как это принято у англичан. Все привлекает его в этом чужом городе, своеобразное обаяние которого он сразу живо почувствовал.

Он посещал музеи, картинные галереи, антикварные лавки, не уставая знакомиться с новыми произведениями искусства, не уставая ими восхищаться. Раз в неделю он ходил смотреть рисунки, которые выставляли в своих витринах «Грэфик» и «Лондон ньюс». Эти рисунки произвели на него такое сильное впечатление, что они надолго остались в его памяти. Поначалу английское искусство вызвало у него известное недоумение. Винсент не мог решить, нравится оно ему или нет. Но постепенно он поддался его обаянию. Его восхищал Констебль, ему нравились Рейнольдс, Гейнсборо, Тернер. Он начал коллекционировать гравюры.

Англия полюбила его. Он спешно купил себе цилиндр. «Без этого, – уверял он, – в Лондоне невозможно вести дела». Он жил в семейном пансионе, который вполне устраивал бы его, если бы не слишком высокая – для его кармана – плата и невыносимо болтливый попугай, любимец двух старых дев, хозяек пансиона. По дороге на службу – в картинную галерею на Саутгемптон-стрит, 17, в самом центре Лондона, – и обратно, шагая в плотной лондонской толпе, он вспоминал книги и персонажи английских романистов, которых усердно читал. Само обилие этих книг, характерный для них культ семейного очага, скромных радостей скромных людей, улыбочивая грусть этих романов, чуть приперченная юмором сентиментальность и слегка отдающая ханжеством дидактичность глубоко волновали его. Особенно нравился ему Диккенс.

Диккенс умер в 1870 году, за три года до приезда Винсента в Лондон, достигнув вершины славы, какой до него, вероятно, не знал при жизни ни один писатель. Его прах покоился в Вестминстерском аббатстве рядом с прахом Шекспира и Филдинга. Но его персонажи – Оливер Твист и крошка Нелл, Николас Никклби и Дэвид Копперфилд – остались жить в сердцах англичан. И Винсента тоже преследовали эти образы. Как любителя живописи и рисунка, его, вероятно, восхищала удивительная зоркость писателя, который, неизменно замечая во всяком явлении его характерную черту, не боялся преувеличивать ее для пущей наглядности и в каждом эпизоде, каждом человеке, будь то женщина или мужчина, умел мгновенно выделить главное.

И все же это искусство, по всей вероятности, не произвело бы на Винсента такого сильного впечатления, если бы Диккенс не затронул в его сердце самые сокровенные струны. В героях Диккенса Винсент находил те самые добродетели, которые насаждал в Зюндерте его отец. Все мироощущение Диккенса пронизано доброжелательностью и гуманизмом, сочувствием к человеку, поистине евангельской мягкостью. Диккенс – певец человеческих судеб, не знающих ни блистательного взлета, ни трагедийного блеска, чуждых всякой патетики, скромных, бесхитростных, но, в сущности, столь счастливых своей безмятежностью, довольствующихся столь элементарными благами, что на них мог бы притязать всякий и каждый. А что нужно героям Диккенса? «Сто фунтов стерлингов в год, славная женушка, дюжина детей, стол, любовно накрытый для добрых друзей, собственный коттедж вблизи Лондона с зеленым газоном под окном, маленький садик и немного счастья».

Неужели жизнь может быть такой щедрой, такой чудесной, нести человеку столько простых радостей? Какая мечта! Сколько поэзии в этом незамысловатом идеале! Возможно ли, что когда-нибудь и ему, Винсенту, будет дано насладиться подобным счастьем, жить, или, точнее, забыться сном в этом блаженном покое – стать одним из баловней судьбы? Достоин ли он всего этого?

Винсент плутал по узким окраинным улочкам, где жили герои Диккенса, где обитают их братья. Старая, добрая, веселая Англия! Он гулял по набережной Темзы, любуясь водами реки, тяжелыми баржами, перевозящими уголь, Вестминстерским мостом. Иногда он доставал из

кармана листы бумаги и карандаш и начинал рисовать. Но всякий раз он недовольно хмыкал. Рисунок не получался.

В сентябре, считая плату за пансион непомерно высокой, он перебрался на другую квартиру. Он поселился у вдовы священника, мадам Луайе, которая была родом из Южной Европы. «Теперь я располагаю комнатой, какую давно желал иметь, – писал довольный Винсент брату Тео, – без косых балок и синих обоев с зеленой каймой». Незадолго до этого он совершил в обществе нескольких англичан лодочную прогулку, которая оказалась весьма приятной. Честное слово, жизнь прекрасна...

Жизнь и впрямь с каждым днем казалась Винсенту все прекрасней.

Английская осень сулила ему тысячу радостей. Восторженный почитатель Диккенса вскоре осуществил свою мечту: он полюбил. У мадам Луайе была дочь Урсула, которая помогала ей содержать частные ясли. Винсент сразу влюбился в нее и в порыве влюбленности называл ее «ангелом с младенцами». Между ними завязалась своеобразная любовная игра, и теперь по вечерам Винсент торопился домой, чтобы скорее увидеть Урсулу. Но он был робок, неуклюж и не умел высказать свою любовь. Девушка как будто благосклонно принимала его робкое ухаживание. Кокетка по натуре, она забавлялась неказистым брабантским пареньком, так скверно изъясняющимся по-английски. А он ринулся в эту любовь со всем простодушием и страстностью своего сердца, с тем же простодушием и страстностью, с которой восторгался картинами и рисунками, не разбирая, хороши они или посредственны.

Он искренен, и в его глазах весь мир – воплощенная искренность и доброта. Он ничего еще не успел сказать Урсуле, но ему не терпится поведать всем о своем счастье. И он пишет сестрам, родителям: «Я никогда не видел и даже в мечтах не представлял себе ничего прекраснее той нежной любви, которая связывает ее с матерью. Полюбите ее ради меня... В этом милом доме, где все мне так нравится, мне оказывают столько внимания; жизнь щедра и прекрасна, и все это, Господи, сотворено Тобой!»

Так велика была радость Винсента, что Тео послал ему венок из дубовых листьев и с шутивым укором попросил его в своем упоении все же не забывать лесов родного Брабанта.

И в самом деле, хотя Винсенту по-прежнему дороги родные равнины и леса, все же он не в силах на этот раз покинуть Англию ради поездки в Хельфорт. Он хочет остаться подле Урсулы, отпраздновать близ нее очередное повышение, которым порадовала его к Рождеству фирма «Гупиль». Чтобы хоть чем-то искупить свое отсутствие, он посылает родным зарисовки своей комнаты, дома мадам Луайе, улицы, на которой стоит этот дом. «Ты так наглядно все изобразил, – писала ему мать, – что мы совершенно ясно все это себе представляем».

Винсент продолжал делиться с родными своим счастьем. Все вокруг радовало, вдохновляло его. «Я с большим удовольствием знакомлюсь с Лондоном, английским образом жизни и самими англичанами. И еще у меня есть природа, и искусство, и поэзия. Если этого мало, то что же еще нужно?» – восклицает он в своем январском письме к Тео. И подробно рассказывает брату о любимых художниках и картинах. «Находи красоту всюду, где только можно, – советует он ему, – большинство людей не всегда замечают красоту».

Винсент одинаково восхищался всеми картинами – как хорошими, так и плохими. Он составил для Тео перечень своих любимых художников («Но я мог бы продолжить его до бесконечности», – писал он), в котором имена мастеров стояли рядом с именами бездарных пачкунов: Коро, Конт-Кали, Боннингтон, мадемуазель Коллар, Буден, Фейен-Перрен, Зиём, Отто Вебер, Теодор Руссо, Юндт, Фромантен... Винсент восхищался Милле. «Да, – говорил он, – “Вечерняя молитва” – это настоящее, это великолепно, это поэзия».

Дни текут счастливо-безмятежные. И все же ни высокий цилиндр, ни идиллия с Урсулой Луайе не преобразили Винсента до конца. Много еще осталось в нем от того маленького дикаря, каким он когда-то был. Однажды случай свел его с неплохим голландским художни-

ком, живущим в Англии – одним из трех братьев Марис, – Тейсом Марисом. Но беседа их не вышла за рамки банальных фраз.

Вот и флирту с Урсулой Луайе пора бы выйти за рамки банальных фраз. Но Винсент долго не отваживался произнести решающие слова. Он был уже доволен и тем, что может любоваться красотой девушки, смотреть на нее, говорить, жить бок о бок с ней, и чувствовал себя счастливым. Он был весь полон своей мечтой, большой мечтой, зародившейся в его сердце. Раздобыть денег, жениться на прелестной Урсуле, иметь детей, собственный домик, цветы, вести спокойную жизнь и вкусить, наконец, счастье, хотя бы каплю счастья, простого, безыскусственного, даруемого миллионам и миллионам людей, раствориться в безликой толпе, в ее добром тепле.

В июле Винсент получит несколько дней отпуска. Рождество он провел в Англии, значит, в июле он поедет в Хелфоурт, иначе нельзя. Урсула! Счастье так близко, совсем рядом! Урсула! Винсент больше не в силах откладывать объяснение. Он решается. И вот он стоит перед Урсулой. Наконец-то он объяснился, выговорил слова, которые так долго вынашивал в сердце – неделю за неделей, месяц за месяцем. Урсула взглянула на него и разразилась смехом. Нет, это невозможно! Она ведь уже помолвлена. Молодой человек, снимавший комнату в их доме до Винсента, давно просил ее руки, она его невеста. Невозможно! Урсула смеялась. Смеялась, объясняя этому неуклюжему фламандцу с такими забавными провинциальными манерами, как он оплошал. Она смеялась.

Капля счастья! Он не получит своей капли счастья! Винсент настаивал, горячо упрашивал Урсулу. Он не уступит ее! Он требовал, чтобы она расторгла помолвку, чтобы вышла замуж за него, Винсента, так страстно ее любящего. Не может же она так просто оттолкнуть его, словно он отвержен самой судьбой.

Но ответом ему был смех Урсулы. Иронический смех Судьбы.

III. Изгнание

*Я был одинок, совсем одинок,
Окутан морской пеленой,
Забывтый людьми... Ни святые, ни Бог
Не сжалились надо мной.*

Сэмюэл Тейлор Кольридж. «Песня старого моряка», IV

В Хелфоурте пастор и его жена после радостных писем последних месяцев рассчитывали увидеть Винсента бодрым, полным радужных планов на будущее. Но перед ними предстал прежний Винсент, нелюдимый юноша с мрачным, угрюмым взглядом. Мгновения светлого счастья безвозвратно прошли. Небо вновь затянулось черными тучами.

Винсент ни о чем не рассказывал. Удар поразил его в самое сердце. Старики пытались его утешить, но мыслимо ли словами, бесхитростными и бессвязными уговорами помочь человеку, который совсем недавно пережил неистовство восторга, шумно ликовал и громко превозносил свое счастье, внезапно лопнувшее как мыльный пузырь? «Все пройдет», «время все излечит» – нетрудно угадать обычные в таких случаях слова утешения, к которым прибегали родные, желая, чтобы на измученном лице Винсента вновь заиграла спокойная улыбка. Но Винсент ничего не отвечал; впав в прострацию, он заперся в своей комнате и курил день и ночь. Пустые слова! Он любил, он и сейчас беззаветно любит Урсулу. Он душой и телом предался своей любви, и вот теперь все рухнуло – смех любимой девушки все разрушил и растоптал. Мыслимо ли, чтобы человек, вкусивший столько счастья, был повержен в такое безысходное горе? Отступить, сжиться с бедой, топить горе в мелких дурацких повседневных хлопотах, в скудоумных заботах? Ложь, трусость! Почему Урсула отвергла его? Почему сочла его недо-

стойным? Сам он не понравился ей? Или его занятие? Его скромное, жалкое положение, которое он ей столь простодушно предложил с ним разделить? Ее смех, – о, этот смех! – он до сих пор отдается у него в ушах. Снова его обступил мрак, холодный мрак одиночества, роковой тяжестью легший на его плечи.

Запершись в своей комнате на ключ, Винсент курил трубку и рисовал.

Всякий раз, когда он выходил к ним, священник с женой участливо глядели на своего взрослого, бесконечно несчастного сына. Дни шли своей чередой, и директор лондонского филиала фирмы «Гупиль» вызвал Винсента на службу. Он должен ехать. Родители в тревоге. Они боятся, что он может сделать опрометчивый шаг, сомневаются, благоразумно ли отпустить его одного в Лондон. Пусть лучше с ним поедет старшая из сестер, Анна. Может быть, ее общество несколько успокоит Винсента.

* * *

В Лондоне Винсент с Анной поселились на Кенсингтон Нью Роуд, сравнительно далеко от пансионата мадам Луайе. Винсент вернулся к своей службе в художественной галерее. На этот раз без энтузиазма. Прежнего образцового служащего словно подменили. Он куда меньше радует своих хозяев. Винсент угрюм, раздражителен. По-прежнему, как и в Хелфоурте, он предается долгим раздумьям. С большим трудом Анне удалось удержать его от попыток вновь увидеться с Урсулой. Он совсем перестал посылать письма родным. Встревоженный настроением сына, пастор решил поведать о случившемся брату Винсенту. Дядюшка Сент тотчас сделал все, что от него требовалось, и директор галереи узнал о несчастной любви своего приказчика. Теперь понятно, откуда эта мрачность и неприветливость к клиентам. Делу легко помочь. Достаточно послать Винсента в Париж. Две-три недели в веселом Париже, городе удовольствий, и все как рукой снимет. Сердечная рана юноши быстро затянется, и он вновь станет примерным служащим.

В октябре Винсент выехал в Париж, в главное отделение фирмы «Гупиль», а сестра Анна возвратилась в Хелфоурт. Винсент один в Париже, в этом городе удовольствий, городе искусства. В салоне фотографа Надара несколько художников, из тех, что беспрестанно подвергаются нападкам, – Сезанн, Моне, Ренуар, Дега... в этом году устроили свою первую групповую выставку. Она вызвала бурю негодования. И поскольку одна из выставленных картин, принадлежавшая кисти Моне, носила название «Восход солнца. Впечатление», видный критик Луи Леруа издевательски окрестил этих художников импрессионистами, и это название так и осталось за ними.

Однако Винсент Ван Гог уделял искусству не больше времени, чем развлечениям. Обреченный на одиночество, он погрузился в безысходное отчаяние. И ни одной дружеской руки! И неоткуда ждать спасения! Он одинок. Он чужой в этом городе, который, как, впрочем, и любой другой, не в силах ему помочь. Он без конца копается в себе, в хаосе мыслей и чувств. Он хочет лишь одного – любить, любить без устали, но ее отвергли, любовь, переполнявшую его сердце, огонь, бушевавший в его душе и рвущийся наружу. Он хотел отдать все, что имел, одарить Урсулу своей любовью, дать счастье, радость, безвозвратно отдать всего себя, но одним движением руки, обидным смехом – о, как трагически звонко звенел ее смех! – она отрицала все, что он хотел принести ей в дар. Его оттолкнули, отвергли. Любовь Винсента никому не нужна. Почему? Чем он заслужил подобную обиду? В поисках ответа на волнующие его вопросы, спасаясь от тяжких, мучительных дум, Винсент заходит в церкви. Нет, он не верит, что его отвергли. Наверно, он чего-то не понял.

Винсент неожиданно возвратился в Лондон. Он помчался к Урсуле. Но, увы, Урсула даже не отперла ему дверь. Урсула отказалась принять Винсента.

Сочельник. Английский сочельник. Празднично разукрашенные улицы. Туман, в котором мигают лукавые огоньки. Винсент одинок в веселой толпе, отрезан от людей, от всего мира.

Как быть? В художественной галерее на Саутгемптон-стрит он отнюдь не стремится стать прежним образцовым приказчиком. Куда там! Торговать гравюрами, картинами сомнительного вкуса, разве это не самое жалкое ремесло, какое только можно придумать? Не потому ли – из-за убожества этой профессии – его отвергла Урсула? Что для нее любовь какого-то мелкого торговца? Вот что, наверно, думала Урсула. Он показался ей бесцветным. И в самом деле, как ничтожна жизнь, которую он ведет. Но что же делать, Господи, что же делать? Винсент читает запоем Библию, Диккенса, Карлейля, Ренана... Часто посещает церковь. Как вырваться из своей среды, чем искупить свое ничтожество, как очиститься? Винсент жаждет откровения, которое просветило бы его и спасло.

Дядюшка Сент, по-прежнему издали следивший за племянником, принял нужные меры, чтобы перевести его в Париж на постоянную службу. Наверно, он полагал, что перемена обстановки окажется благотворной для юноши. В мае Винсенту было велено выехать из Лондона. Накануне отъезда в письме к брату он процитировал несколько фраз Ренана, которые произвели на него глубокое впечатление: «Чтобы жить для людей, нужно умереть для себя. У народа, взявшегося нести другим какую-либо религиозную идею, нет иного отечества, кроме этой идеи. Человек приходит в мир не для того только, чтобы быть счастливым, и даже не для того, чтобы просто быть честным. Он здесь для того, чтобы вершить на благо общества великие дела и обрести истинное благородство, поднявшись над пошлостью, в которой прозябает подавляющее большинство людей».

Винсент не забывал Урсулу. Разве мог он ее забыть? Но страсть, владеющая им, подавленная было отказом Урсулы, страсть, которую он сам распалил в себе до предела, неожиданно бросила его в объятия Бога. Он снял на Монмартре комнатку, «выходящую в садик, заросший плющом и диким виноградом». Окончив работу в галерее, он спешил домой. Здесь он проводил долгие часы в обществе другого служащего галереи, восемнадцатилетнего англичанина Гарри Глэдуэлла, с которым подружился за чтением и комментированием Библии. Толстый черный фолиант времен Зюндерта вновь занял место на его письменном столе. Письма Винсента к брату, письма старшего к младшему, напоминают проповеди: «Я знаю, что ты разумный человек, – пишет он. – Не думай, будто все хорошо, научись самостоятельно определять, что относительно хорошо, а что скверно, и пусть это чувство подскажет тебе верный путь, благословенный Небом, – ибо все мы, старина, нуждаемся в том, чтобы нас вел Господь».

По воскресеньям Винсент посещал протестантскую или англиканскую церкви, а иногда и ту и другую и пел там псалмы. С благоговением слушал он проповеди священников. «Все глаголет о благодати тех, кто возлюбил Господа» – на эту тему однажды произнес проповедь пастор Бернье. «Это было величественно и прекрасно», – взволнованно писал брату Винсент. Религиозный экстаз несколько смягчил боль неразделенной любви. Винсент ушел от проклятия. Он избежал одиночества. Во всякой церкви, как и в молельне, беседуешь не только с Богом, но и с людьми. И они согревают тебя своим теплом. Он больше не должен вести нескончаемый спор с самим собой, единоборствовать с отчаянием, безвозвратно отданный во власть темных сил, пробудившихся в его душе. Жизнь снова стала простой, разумной и благодатной. «Все глаголет о благодати тех, кто возлюбил Господа». Достаточно в страстной мольбе воздеть руки к христианскому Богу, зажечь пламя любви и в нем сгореть, чтобы, очистившись, обрести спасение.

Винсент весь отдался любви к Богу. В те времена Монмартр с его садами, зеленью и мельницами, со сравнительно малочисленными и тихими обитателями еще не утратил сельского облика. Но Винсент не видел Монмартра. Взираясь вверх или спускаясь вниз по его крутым, узким, полным живописной прелести улочкам, где била ключом народная жизнь, Винсент ничего не замечал вокруг. Не зная Монмартра, он не знал и Парижа. Правда, он по-преж-

нему интересовался искусством. Он побывал на посмертной выставке Коро – художник как раз скончался в тот год, – в Лувре, Люксембургском музее, в Салоне. Он украсил стены своей комнатки гравюрами Коро, Милле, Филиппа де Шампеня, Бонингтона, Рейсдала, Рембрандта. Но его новая страсть сказалась на его вкусах. Главное место в этом собрании занимала репродукция картины Рембрандта «Чтение Библии». «Эта вещь побуждает к раздумью», – с трогательной убежденностью уверяет Винсент, цитируя слова Христа: «Где двое или трое собраны во имя Мое, там Я посреди них». Винсента снедает внутренний огонь. Он создан, чтобы верить и гореть. Он обожал Урсулу.

Обожал природу. Обожал искусство. Теперь он обожает Бога. «Чувство, даже тончайшее чувство любви к прекрасной природе, – совсем не то, что религиозное чувство, – заявляет он в письме к Тео, но тут же, охваченный сомнением, снедаемый и раздираемый кипящими в нем страстями, рвущейся наружу любовью к жизни, добавляет: – Хотя я полагаю, что оба эти чувства тесно связаны». Он без устали посещал музеи, но также много читал. Читал Гейне, Китса, Лонгфелло, Гюго. Читал также Джордж Элиот «Сцены из жизни духовенства». Эта книга Элиот стала для него в литературе тем, чем была для него в живописи картина Рембрандта «Чтение Библии». Он мог бы повторить слова, некогда произнесенные госпожой Карлейль по прочтении «Адама Биды» того же автора: «Во мне проснулось сострадание ко всему роду человеческому». Страдая, Винсент испытывает смутную жалость ко всем страждущим. Сострадание есть любовь, «каритас» – высшая форма любви. Порожденное любовным разочарованием, его горе вылилось в иную, еще более сильную любовь. Винсент занялся переводом псалмов, погрузился в благочестие. В сентябре он объявил брату, что намерен расстаться с Мишле и Ренаном, со всеми этими агностиками. «Сделай и ты то же самое», – советует он. В начале октября он настойчиво возвращается к той же теме, спрашивает брата, действительно ли тот избавился от книг, которые во имя любви к Богу, право, следовало бы запретить. «Страницу Мишле по поводу “Женского портрета” Филиппа де Шампеня ты все же не забывай, – добавляет он, – и не забывай Ренана, Однако расстанься с ними...»

И еще Винсент писал брату: «Ищи света и свободы и не погружайся слишком глубоко в грязь этого мира». Для самого Винсента грязь этого мира сосредоточена в галерее, куда каждое утро он вынужден направлять свои стопы.

Господа Буссо и Валадон, зятя Адольфа Гупиля, основавшего эту галерею с полвека назад, стали после него директорами фирмы. Им принадлежали три магазина – на площади Оперы в доме 2, в доме 19, на бульваре Монмартр, и в доме 9 на улице Шапталль. В этом последнем магазине, разместившемся в роскошно обставленном зале, служил Винсент. С потолка свисала блестящая хрустальная люстра, освещающая мягкий диван, где отдыхали клиенты – завсегдатаи этого модного заведения, отдыхали, любясь картинами в нарядных позолоченных рамах, развешенными по стенам. Здесь – тщательно выписанные работы прославленных мэтров тех лет – Жан-Жака Энне и Жюля Лефевра, Александра Кабанеля и Леона-Жозефа Бонна, – все эти импозантные портреты, добродетельные ню, искусственные героические сцены – слащавые картины, вылизанные и прилизанные именитыми мастерами. Это слепок мира, сияющего скрыть свои пороки и нищету за лицемерными улыбками и фальшивой добропорядочностью. Именно этого мира бессознательно страшится Винсент. В этих банальных картинах он чувствует фальшь: в них нет души, и его оголенные нервы болезненно улавливают пустоту. Снедаемый неутолимой жадью добра, измученный непреодолимым стремлением к совершенству, он вынужден, чтобы не умереть с голоду, торговать этим жалким хламом. Не в силах смириться с такой участью, он сжимал кулаки.

«Что вы хотите? Такова мода!» – сказал ему кто-то из коллег. Мода! Хвастливая самоуверенность, глупость всех этих кокеток и франтов, посещающих галерею, раздражала его до крайности. Винсент обслуживал их с нескрываемым отвращением, а бывало, даже покрикивал на них. Одна из дам, оскорбившись таким обращением, обозвала его «голландским муж-

ланом». В другой раз, не в силах сдержать раздражения, он брякнул своим хозяевам, что «торговля произведениями искусства – всего лишь форма организованного грабежа».

Естественно, господа Буссо и Валадон никак не могли быть довольны таким скверным приказчиком. И они послали в Голландию письмо с жалобой на Винсента. Он позволяет себе совершенно неуместную фамильярность с клиентами, говорилось в нем. Винсент со своей стороны тоже был недоволен службой. В декабре – не в силах дольше терпеть – он, никого не предупредив, покинул Париж и уехал в Голландию, чтобы встретить там Рождество.

Отец его опять сменил приход. Теперь его назначили священником в Эттен – небольшой поселок неподалеку от города Бреда. Перевод этот ни в коей мере не означал повышения. Пастор, чье годовое жалованье составляет около восьмисот флоринов (даже Винсент и тот зарабатывает больше тысячи), все так же беден и потому страстно мечтает обеспечить будущее своих детей. Это самая серьезная из его забот. Но ничуть не меньше заботит его угнетенное состояние духа, в котором явился к нему Винсент. Смущает его и мистическая экзальтация сына – в одном из писем он напоминает ему историю Икара, который захотел полететь на солнце и лишился крыльев. А другому сыну – Тео – он написал: «Винсент должен быть счастливым! Может быть, лучше подыскать ему другую службу?»

Отлучка Винсента была короткой. В первых числах января 1876 года он возвратился в Париж. Господа Буссо и Валадон холодно встретили приказчика, которого, при всех его недостатках, им все же очень не хватало в дни предрождественской торговли. «Встретившись снова с господином Буссо, я спросил его, согласен ли он, чтобы я и в этом году оставался на службе у фирмы, полагая, что ни в чем особенно серьезном он не может меня упрекнуть, – пишет 10 января брату Тео смущенный Винсент. – На деле, однако, все обстояло иначе, и, поймав меня на слове, он сказал, что я могу считать себя уволенным с 1 апреля и благодарить господ владельцев фирмы за все, чему я научился у них на службе».

Винсент растерялся. Он ненавидел свою работу, и его поведение на службе рано или поздно должно было поссорить его с хозяевами. Но подобно тому, как два года назад он не понял кокетства и легкомыслия Урсулы, так и тут не умел предвидеть неизбежные последствия своих выходов – увольнение удивило и огорчило его. Очередной провал! Сердце его переполнено неиссякаемой любовью к людям, но именно она, эта любовь, разлучила его с людьми, сделала изгоем. Он вновь отвергнут. 1 апреля он оставит свою службу в художественной галерее и одиноко побредет дальше своим тернистым путем. Куда ему податься? В какие края? Он не знал, как жить в этом мире, в котором пробирался ощупью, точно слепой. Он знал лишь, что выброшен за борт, и смутно ощущал, что в мире для него не найдется места. И еще он знал, – это главное! – что привел в отчаяние своих близких. Дядюшка Сент, взбешенный случившимся, заявил, что не станет больше заботиться о своем несносном племяннике. Как оправдаться перед родными? Винсент подумал об отце – казалось бы, его прямой, честный жизненный путь должен служить сыну примером. С тревогой думал он о том, что обманул ожидания отца, то и дело причиняя ему огорчения, тогда как его братья и сестры всегда только радуют старика. Глубокая, нестерпимая боль раскаяния охватила душу Винсента. У него не было сил нести свой крест, – слишком тяжело было бремя! – и за это он укорял себя в слабости. Урсула отвергла его, и вслед за ней его отверг весь мир. Что он за человек? Что же такое сокрыто в нем, мешающее ему достигать всех, даже самых скромных успехов, всего, на что он осмеливался притязать? Какой тайный порок, какой грех должен он искупить? Скоро ему уже исполнится двадцать три года, а он словно мальчишка, которого то и дело бросает из стороны в сторону, и он никак не найдет точки опоры, словно обреченный на вечные неудачи! Что же теперь делать, о господи?!

Отец посоветовал ему поискать работу в музее. А Тео заявил, что стоило бы заняться живописью, коль скоро у Винсента такая явная тяга и бесспорные способности к этому делу. Нет, нет, упрямо твердил Винсент. Он не будет художником. Он не имеет права искать легкого

пути. Он должен искупить свою вину, доказать, что он не столь уж недостоин заботы, которой его окружали родные. Отвергая Винсента, общество обвиняет его. Он должен пересилить себя и исправиться, чтобы наконец заслужить уважение сограждан. Все неудачи – следствие его неумелости и ничтожества. Он исправится, станет другим человеком. Он искупит свои грехи. А покамест он ищет работу, изучает объявления в английских газетах, списывается с работодателями.

В начале апреля Винсент приехал в Эттен. Он не собирался долго здесь задерживаться. Не хотел быть в тягость родителям, которые и без того слишком долго о нем пеклись. Нежность матери и отца, взволнованных тревожными письмами Тео, не смягчила, а, напротив, еще сильнее растравила в его душе горечь раскаяния. Винсент списался с преподобным отцом Стоуксом – директором учебного пансионата в Рамсгейте, и тот предложил ему в своем заведении место учителя. Скоро Винсент возвратится в Англию.

Он разыщет Урсулу, и кто знает...

Винсент собрался в путь.

16 апреля Винсент прибыл в Рамсгейт, маленький городок в устье Темзы, в графстве Кент. В письме к родным он рассказал о своем путешествии, рассказал, как человек, глубоко любящий природу и необыкновенно тонко чувствующий цвет: «На другое утро, когда я ехал поездом из Гарвича в Лондон, мне было так приятно глядеть в предрассветных сумерках на черные поля, на зеленые равнины, где паслись ягнята и овцы. Тут и там – колючий кустарник, высокие дубы с темными ветвями и стволами, поросшими серым мхом. Синее предрассветное небо, на котором еще мерцало несколько звезд, и на горизонте – стайка серых облаков. Еще до восхода солнца я слышал пение жаворонка. Когда мы подъезжали к последней станции перед самым Лондоном, выплыло солнце. Стайка серых облаков рассеялась, и я увидел солнце – такое простое, огромное, истинно пасхальное солнце. На траве сверкала роса и ночной иней... Поезд в Рамсгейт ушел лишь через два часа после моего прибытия в Лондон. Это примерно еще четыре с половиной часа езды. Дорога красивая – мы проезжали, например, холмистую местность. Внизу холмы покрыты редкой травой, а наверху выросли дубовые рощи. Все это напоминает наши дюны. Между холмами примостилась деревня с церковью, увитой плющом, как и многие дома, сады были в цвету и над всем стояло голубое небо с редкими серыми и белыми облачками».

Винсент был поклонником и знатоком Диккенса. Войдя в старый дом из серых кирпичных плит, увитых розами и глициниями, где преподобный Стоукс разместил свою школу, он не хуже какого-нибудь Дэвида Копперфилда сразу почувствовал себя в знакомой среде. Казалось, эта новая для него обстановка перенесена сюда из диккенсовского романа. Преподобный Стоукс обладал странной внешностью. Всегда одетый в черное, долговязый, худой, с изборожденным глубокими морщинами лицом, темно-коричневым, как у старинного деревянного идола – так описывал его Винсент, – он ближе к вечеру и вовсе походил на привидение. Представитель мелкого английского духовенства, он был чрезвычайно стеснен в средствах. С огромным трудом содержал он свое не в меру многочисленное семейство, за которым присматривала его тихая, неприметная жена. Его пансионат прозябал. Учеников ему удавалось набирать лишь в самых бедных лондонских кварталах. Всего у преподобного Стоукса было двадцать четыре ученика в возрасте от десяти до четырнадцати лет – бледные, изможденные мальчики, которым их цилиндры, брюки и узкие пиджаки придавали еще более жалкий вид. По воскресеньям вечерами Винсент с грустью глядел, как они в том же самом костюме играют в чехарду.

Ученики преподобного Стоукса ложились спать в восемь часов вечера, а поднимались в шесть утра. Винсент не ночевал в пансионате. Ему отвели комнатку в соседнем доме, где жил второй репетитор питомцев Стоукса – юноша лет семнадцати. «Хорошо бы украсить стены несколькими гравюрами», – писал Винсент.

Винсент с интересом разглядывал окрестный пейзаж – кедры в саду, каменные дамбы порта. Вкладывал в письма веточки морских водорослей. Изредка он водил питомцев на прогулку к берегу моря. Эти хилые дети не отличались шумливостью, к тому же постоянное недоедание тормозило их умственное развитие, и если они не радовали его успехами, на которые вправе рассчитывать всякий учитель, зато ничем ему не досаждали. К тому же, по правде говоря, Винсент отнюдь не выказал себя блестящим педагогом. Он преподавал «все понемногу» – французский и немецкий, арифметику, правописание... Но куда охотнее, глядя на расстилающийся за окном морской пейзаж, он занимал своих учеников рассказами о Брабанте и его красотах. Развлекал он их также сказками Андерсена, пересказом романов Эркмана-Шатриана. Как-то раз он совершил пешую прогулку из Рамсгейта в Лондон и сделал привал в Кентерберии, где с восхищением осмотрел собор; потом провел ночь на берегу пруда.

Не тогда ли Винсент узнал, что Урсула вышла замуж? Никогда больше он не упоминал ее имени, не говорил о ней. Любовь его растоптана безвозвратно. Он никогда больше не увидит своего «ангела».

Как бедна, бесцветна его жизнь! Он задыхается в душном миреке, ставшем отныне его миром. Школьная дисциплина, регулярные и однообразные занятия в одни и те же часы противны его натуре, угнетают его. Он страдает, не в силах привыкнуть к раз навсегда заведенному, точному распорядку. Но он не намерен бунтовать. Исполненный печального смирения, он предается в английском тумане невеселым размышлениям. Этот туман, в котором словно бы растворился окружающий мир, побуждает его сосредоточиться на самом себе, на своей сердечной ране. На его столе рядом с Библией лежат теперь «Надгробные речи» Боссюэ. Постепенно изменяется тон его писем к Тео. Слишком много неудач он претерпел в своей жизни, чтобы по-прежнему говорить с братом как старший с младшим. Идет дождь. Свет уличных фонарей покрывает мокрые тротуары серебристой росписью. Когда ученики ведут себя слишком шумно, их оставляют без хлеба и чая и отсылают спать. «Если бы вы видели их в эти минуты, прильнувших к окну, перед вами предстала бы глубоко печальная картина». Печалью здешнего края пронизано все его существо. Она сродни настрою его собственных дум и будит в нем смутную тоску. Диккенс и Джордж Эллиот своими чувствительными сочинениями склоняют его к приятию этого безрадостного смирения, в котором благочестие сливается с состраданием. «В больших городах, – пишет брату Винсент, – народ испытывает сильную тягу к религии. Многие рабочие и служащие переживают неповторимую пору прекрасной благочестивой юности. Пусть городская жизнь подчас отнимает у человека *the early dew of morning*, но тяга к той самой *old, old story* по-прежнему остается – ведь то, что заложено в душе, в душе и останется. Эллиот описывает в одной из своих книг жизнь фабричных рабочих, которые объединились в небольшую общину и совершают богослужения в часовне на Лантерн-Ярд, и это, говорит она, “царство божие на земле, – ни больше, ни меньше”... Когда тысячи людей устремляются к проповедникам, это воистину трогательное зрелище».

В июне преподобный Стоукс перевел свое заведение в один из пригородов Лондона – Айлворт, на Темзе. Он задумал реорганизовать и расширить школу. Было очевидно, что этот план порожден финансовыми соображениями. Ежемесячная плата за обучение поступала туго. Родители его учеников, как правило, скромные ремесленники, мелкие лавочники, ютившиеся в бедных кварталах Уайтчепеля, вечно жившие под гнетом просроченных долгов и взносов. Они посылали своих детей в школу преподобного Стоукса потому, что у них не было средств определить их в другое место. Когда они переставали платить за обучение, преподобный Стоукс пытался усовестить их. Если же ему не удавалось вытянуть из них ни пенни, он, не желая попусту тратить время и силы, отчислял их детей из школы. На этот раз неблагоприятную задачу – обходить родителей и собирать плату за учение – преподобный Стоукс взвалил на Винсента.

И вот Винсент отправился в Лондон. Собирая просроченные взносы, он обходил одну за другой убогие улицы Ист-Энда, с их нагромождением низких серых домов и густой сетью гряз-

ных переулков, тянувшихся вдоль причала и населенных жалкими, нищими людьми. О существовании этих бедных кварталов Винсент знал из книг – ведь они подробно описаны Диккенсом. Но живая картина человеческой нищеты потрясла его куда больше, чем все викторианские романы, вместе взятые, потому что книжный юмор, поэзия смиренного простодушия нет-нет да возбуждают улыбку, золотистым лучом высветят мрак. Однако в жизни – такой, как она есть, сведенной к простейшей своей сути, лишенной прикрас, заимствованных в арсенале искусства, нет места для улыбок. Винсент шел дальше. Он стучался в жилища старьевщиков, сапожников, мясников, сбывающих в здешних трущобах мясо, которое в Лондоне никто не захотел бы купить. Застигнутые врасплох его приходом, многие родители погашали задолженность за обучение. Преподобный Стоукс поздравил его с успехом.

Но поздравлениям скоро пришел конец.

Вторично отправившись к родителям-должникам, Винсент не принес Стоуксу ни единого шиллинга. Он не столько думал о своем поручении, сколько о нищете, всюду бросающейся в глаза. Он сочувственно выслушивал рассказы, правдивые или вымышленные, которыми должники преподобного Стоукса старались его растрогать, чтобы отсрочить погашение платы. Это удавалось им без труда. Винсент был готов слушать любые рассказы – такая безграничная жалость к людям вспыхивала в его сердце при виде трущоб без воздуха, без воды, пропахших затхлостью, лишенных света лачуг, где в каждой комнате ютилось по семь-восемь человек, одетых в лохмотья. Он видел груды помоев, загромождавших зловонные улицы. Он не спешил выбраться из этой клоаки. «Ну как, теперь вы верите в ад?» – спросил у Эмерсона Карлейль после того, как сводил его в Уайтчепель. Болезни, пьянство, разврат безраздельно царили в этой обители всех пороков, куда викторианское общество вытолкнуло своих париев. В смрадных притонах, то бишь доходных домах, на соломе, на ворохе тряпья спали несчастные люди, не имевшие даже трех шиллингов в неделю на то, чтобы снять какой-нибудь подвал. Бедняков сгоняли в рабочие дома, невообразимо мрачные тюрьмы. Это «изобретение столь же простое, как все великие открытия, – с горькой иронией говорил Карлейль. – Достаточно создать беднякам адские условия, и они начнут вымирать. Секрет этот известен всем крысоловам. Еще более эффективной мерой следовало бы признать применение мышьяка».

Боже! Боже! Что сделали с человеком! Винсент шагает дальше. Муки этих людей сродни его собственным мукам, он ощущает их горе с такой остротой, словно оно постигло его самого. Не сострадание влечет его к ним, а нечто неизмеримо большее; это в самом точном и полном смысле слова могучая любовь, которая захлестнула и потрясла все его существо. Униженный, несчастный, он всем сердцем с самыми несчастными, самыми обездоленными из людей. Он вспоминает отца, вспоминает слова, которые тот часто повторял по долгу службы: «Истинно говорю вам, что мытари и блудницы вперед вас идут в Царство Божие». Строки Евангелия набатом звучат в его растревоженной душе, алчущей искупления. Эта страждущая душа, мгновенно отзывающаяся на любое жизненное явление, готовая беззаветно сопереживать людям и делам, знает одну любовь. Все отвергли любовь Винсента. Что ж, он принесет ее в дар этим несчастным, к которым его влечет и общий удел – нищета, и его многократно отвергнутая любовь, и религиозная вера. Он понесет им слова надежды. Он пойдет по стопам отца.

Возвратившись в Айлворт к преподобному Стоуксу, который с нетерпением дожидается его прихода, Винсент, весь под влиянием увиденного горя, рассказывает пастору о своем трагическом путешествии по Уайтчепелю. Но преподобный Стоукс думает только об одном – о деньгах. Сколько собрано денег? Винсент начинает рассказывать о горе семей, в которых побывал. Подумать только, как бесконечно несчастны эти люди! Но преподобный Стоукс все время прерывает его: а как с деньгами, сколько же денег принес Винсент? Такая страшная жизнь у этих людей, такие беды!.. Боже, боже, что сделали с человеком! Но пастор по-прежнему твердит свое: а деньги, где деньги? Но Винсент ничего не принес. Мыслимо ли требовать какую-то

плату у этих несчастных людей? Как, он вернулся без денег? Преподобный Стоукс вне себя. Что ж, отлично, раз так, он немедленно выставит этого никчемного учителяшку за дверь.

Какая важность, что он уволен! Отныне Винсент душой и телом принадлежит своей новой страсти. Стать художником, как советовал ему Тео? Но Винсент слишком остро терзается раскаянием, чтобы следовать лишь своим вкусам и склонностям. «Я не хочу быть сыном, которого стыдятся», – тихо шепчет он про себя. Он должен искупить свою вину, понести кару за огорчения, которые причинил отцу. Но разве не будет лучшим искуплением, если он пойдет по стопам отца? Винсент уже давно подумывал о том, чтобы стать проповедником Евангелия. В Айлворте была еще одна школа – во главе ее стоял методистский пастор по фамилии Джонс. Винсент предложил ему свои услуги, и тот принял его на службу. Как и в школе Стоукса, он должен заниматься с учениками, но главное – помогать пастору во время церковной службы, быть как бы помощником проповедника. Винсент счастлив. Мечта его сбылась.

Он лихорадочно окунулся в работу. Одну за другой сочинял он проповеди, которые порой удивительно напоминают пространный евангелистский комментарий к той или иной картине. Он вел нескончаемые богословские споры с Джонсом, изучал литургические песнопения. Скоро он и сам начал читать проповеди. Он проповедовал Евангелие в разных лондонских пригородах – в Питершэме, Тэрнхам Грине и других.

Винсент не мог похвастать красноречием. Он никогда раньше не держал публичных речей и не был к этому подготовлен. Да и не так уж бегло говорил он по-английски. Но Винсент продолжал выступать, стараясь преодолеть собственные недостатки, рассматривая их лишь как очередное испытание, ниспосланное ему для вящего смирения. Он не щадил себя. Часы досуга он проводил в церквях – католических, протестантских и синагогах, – не считаясь с их различиями, возжелав одного Слова Божьего, в какие бы формы оно ни было облечено. Эти различия – плод бессилия человека познать абсолютную истину – не могли поколебать его веры. «Оставьте все и следуйте за мной», – говорил Христос. И еще: «И всякий, кто оставит дома, или братьев, или сестер, или отца, или мать, или жену, или детей, или земли ради имени Моего, получит во сто крат и наследует жизнь вечную». Как-то раз Винсент бросил в церковную кружку свои золотые часы и перчатки. Стены своей комнатухи он украсил гравюрами в духе нового увлечения: это «Страстная пятница» и рядом «Возвращение блудного сына», «Христос Утешитель» и «Святые жены, следующие ко Гробу Господню».

Винсент проповедовал учение Христа: «Блаженны плачущие, ибо они утешатся». Он убеждал лондонских рабочих, что скорбь лучше радости. *Sorrow is better than joy*. Прочитав у Диккенса волнующее описание жизни людей в угольных районах, он загорелся мечтой понести Слово Божье горнякам, открыть им, что после мрака наступает свет: *post tenebras lux*. Но ему ответили, что стать проповедником Евангелия в угольном бассейне можно лишь по достижении двадцатипятилетнего возраста.

Винсент не щадил своих сил, питался скудно и всегда наскоро, проводя дни в молитвах и в работе, и под конец, не выдержав, слег. Он восторженно принял эту болезнь, считая, подобно Паскалю, что она есть «естественное состояние человека». Скорбь лучше радости. «Болезнь, зная, что тебя поддерживает длань Господня, и вынашивать в своей душе новые устремления и мысли, которые недоступны нам, когда мы здоровы, чувствовать, как в дни болезни еще больше возгорается и крепнет твоя вера, – право, совсем неплохо», – пишет он. «Которые недоступны нам, когда мы здоровы» – инстинкт подсказывает Винсенту, что тот, кто стремится к высотам духа, не должен бояться необычных путей, всего себя отдавать избранному делу.

Но он совсем изнурен. А тут опять подошло Рождество. Винсент вернулся в Голландию.

Эттенский пастор, мирный служитель Божьей истины, немало испугался при виде сына, возвратившегося из Англии в квакерской одежде, бледного, исхудалого, с лихорадочно горящими глазами, одержимого буйным мистицизмом, проявлявшимся в каждом его жесте, каж-

дом слове. Обитателям бедного и все же истинно бюргерского дома страстная любовь Винсента к отверженным Уайтчепеля и их братьям кажется по меньшей мере нелепой. Эта любовь к Богу, изъясняемая слишком бурно, это сострадание к людям, чересчур буквально копирующее заповеди Евангелия, вызывает у пастора глубокую тревогу.

Хоть дядюшка Сент и заявил, что не намерен больше заботиться о племяннике, все же в своем отчаянии пастор вновь обратился к нему, моля о помощи. Винсенту нельзя возвращаться в Англию. Сердясь и неустанно повторяя, что из Винсента все равно ничего путного не выйдет, дядюшка Сент уступил настояниям брата. Если Винсент захочет, он может поступить приказчиком в книжную лавку Браама и Блюссе в Дордрехте. Он столько возился с книгами в своей жизни, что, надо думать, придется ко двору и без каких-либо особых усилий с его стороны.

Винсент согласился. Не потому, что его убедили укоры близких. Отнюдь нет. Просто он подумал, что, став приказчиком книжного магазина, он сумеет восполнить пробелы в своих знаниях, прочитать уйму книг – философских и богословских, которые он не в состоянии купить.

Дордрехт, маленький, на редкость оживленный речной порт в Южной Голландии, один из старинных нидерландских городов. Согласно историческим хроникам, в IX веке он подвергался набегам норманнов. Вокруг огромной, усиженной воронами квадратной готической башни, знаменитой Хроте керк, вдоль молов и доков лепились веселые домики с красными крышами и непременным коньком на верхушке. Под светлым небом Дордрехта родилось немало художников, и среди них Кейп – один из лучших живописцев голландской школы.

Появление Винсента, так и не пожелавшего расстаться со своей квакерской одеждой, стало в Дордрехте сенсацией. Его любовь к людям поистине безгранична, как и его любовь к Богу, как некогда его любовь к Урсуле. Но чем сильнее эта любовь, чем необузданнее его страсть, тем шире разверзается пропасть, отделяющая его от людей, которые вовсе не требуют подобного самоотречения и в своем бескрылом прозябании притязают лишь на приемлемый модус вивенди, достигнутый ценой уступок и компромиссов. Но Винсент не замечал этой пропасти. Он не понимал, что его страсти, его непреодолимые порывы обрекают его на участь одинокого, никем не понятого изгнанника. Над ним смеялись.

Приказчики книжной лавки насмехались над хмурым, угрюмым новичком, который не проявлял ни малейшего интереса к торговле, а интересовался только содержанием книг. Молодые обитатели пансионата на Толбрухстраате у берега Мааса, где поселился Винсент, открыто потешались над аскетическим образом жизни этого двадцатитрехлетнего парня, который, как однажды написала его родная сестра, «совсем одурел от благочестия».

Но насмешки не трогали Винсента. Он упорно шел своим путем. Он не из тех, кто берется за дело кончиками пальцев, бережет себя и других. Какой бы задаче он себя ни посвятил, он не остановится на полпути, не удовлетворится суррогатом. Благодаря любезности хозяина магазина, который относился к нему с почтительным любопытством, он получил доступ в отдел редких изданий. Он прочитывал одну книгу за другой; стараясь глубже вникнуть в смысл библейских строк, он стал переводить их на все известные ему языки, не пропускал ни одной проповеди, даже ввязывался в богословские споры, которые волновали часть жителей Дордрехта. Он умерщвлял свою плоть, стараясь приучить себя к лишениям, и все же был не в силах отказаться от табака, от трубки, с давних пор ставшей его постоянной спутницей. Как-то раз в Дордрехте, когда вода затопила несколько домов, в том числе книжный магазин, этот чудаковатый юноша, прославивший мизантропом, удивил всех своей самоотверженностью и выдержкой, энергией и выносливостью: он спас от наводнения огромное количество книг.

Увы, Винсент почти ни с кем не водил компании. Единственный, с кем он общался, был учитель по фамилии Горлиц, живший в том же пансионате. Пораженный недюжинным умом Винсента, он посоветовал ему продолжить образование и получить диплом богослова. Это

как раз то, о чем помышлял сам Винсент. «Благодаря тому, что я видел в Париже, Лондоне, Рамсгейте и Айлворте, – пишет он брату Тео, – меня влечет ко всему библейскому. Я хочу утешать сирых. Я полагаю, что профессия художника или артиста хороша, но профессия моего отца более благочестива. Я хотел бы стать таким, как он». Эти слова, эти мысли повторяются в его письмах, как постоянный рефрен. «Я не одинок, потому что со мной Господь. Я хочу быть священником. Священником, подобно моему отцу, моему деду...»

На стенах его комнаты висят рядом с гравюрами его собственные рисунки. В письмах к Тео он описывает пейзажи Дордрехта, игру света и тени, как настоящий художник. Он посещает музеи. Но во всякой картине его прежде всего привлекает сюжет. Так, например, слабая картина Ари Шеффера, живописца романтической школы и уроженца Дордрехта, «Христос в саду Гефсиманском» – картина самого пресного, невыносимо ходульного стиля – вызывает у него бурный восторг. Винсент решил стать священником.

Однажды вечером он поделился своими планами с господином Браамом. Тот встретил признание своего служащего с некоторым скептицизмом, заметив, что притязания его, в сущности, весьма скромны: Винсент будет всего-навсего рядовым пастором и, подобно отцу, схоронит свои дарования в какой-нибудь безвестной брабантской деревушке. Оскорбленный этим замечанием, Винсент вспылал. «Так что же, – крикнул он, – мой отец там – на своем месте! Он пастырь человеческих душ, вверивших ему свои помыслы!»

При виде столь четкой и твердой решимости эттенский пастор задумался. Если и в самом деле его сын решил посвятить себя служению Богу, не надо ли помочь ему вступить на избранную им стезю? Может быть, и впрямь самое разумное – поддержать стремление Винсента? Новая профессия вынудит его обуздать свой ни с чем не сообразный идеализм, вернуться к более трезвым взглядам. Эта профессия, полная благородства и самоотречения, возвратив его в лоно ортодоксальной веры, сможет приглушить пожирающее его пламя солидной дозой голландского хладнокровия и бюргерской умеренности. И снова пастор Теодор Ван Гог созвал семейный совет.

«Так тому и быть! – постановил совет. – Пусть Винсент получит образование и станет священником протестантской церкви».

Решили послать его в Амстердам, где ему предстояло пройти подготовительный курс и сдать вступительные экзамены, которые впоследствии позволят ему получить диплом богослова. Кров и стол предоставит ему дядя, вице-адмирал Иоганнес, который в том же 1877 году был назначен директором амстердамской морской верфи.

30 апреля Винсент покинул книжный магазин Браама и Блюссе. Он приехал в Дордрехт 21 января, более двух месяцев назад. В одном из своих первых писем оттуда он восклицал: «О Иерусалим! О Иерусалим! Или точнее, о Зюндерт!» Какая смутная печаль обитает в этой беспокойной душе, пожираемой могучим пламенем страстей? Сбудутся ли наконец его чаяния, обретет ли он свое «я»? Может быть, наконец он нашел путь к спасению и величию – подвиг, соразмерный снедающей его могучей любви?

IV. Защитник углекопов

*Вокруг себя людей хочу я видеть
Упитанных, холеных, с крепким сном.
А этот Кассий кажется голодным:
Он слишком много думает. Такие
Опасны люди.*

Уильям Шекспир. «Юлий Цезарь», акт 1, сцена II

Приехав в начале мая в Амстердам, Винсент сразу приступил к занятиям, которые спустя два года должны были раскрыть перед ним двери богословской семинарии. Прежде всего необходимо было изучить греческий и латынь. Молодой раввин Мендес да Коста, живший в еврейском квартале, стал давать Винсенту уроки. Пастор Стриккер, один из деверей его матери, обязался следить за ходом занятий.

Как и было условлено, Винсент поселился у своего дяди, вице-адмирала Иоганнеса. Между тем они почти не встречались друг с другом. Что могло быть общего у снедаемого страстями Винсента с важным сановником, закосневшим в своем увешанном орденами мундире и с железной пунктуальностью соблюдавшим жизненный распорядок, издавна predetermined в мельчайших деталях? Верно и то, что в доме директора судовой верфи никогда еще не принимали столь необычного гостя. Вице-адмирал согласился поселить у себя этого чудакватого племянника лишь из уважения к семейным традициям, но, желая раз и навсегда четко очертить дистанцию между ними, даже никогда не садился вместе с Винсентом за стол. Пусть племянник устраивает свою жизнь как знает. Вице-адмиралу, во всяком случае, нет до него ровно никакого дела!

Впрочем, у Винсента иные заботы.

В жизни Ван Гога одно событие неотвратимо влечет за собой другое. Куда он идет? Он и сам не мог бы этого сказать. Винсент не просто страстный человек – он сама страсть. Страсть, пожирающая его, направляет его жизнь, подчиняя ее своей собственной жуткой, неумолимой логике. Всем своим прошлым Винсент никак не подготовлен к академическим занятиям. Трудно было бы найти что-либо более чуждое и противное натуре Винсента, чем это неожиданное испытание, навязанное ему самой логикой его жизни. Он – воплощенная доброта, порывистость, любовь; ему необходимо ежечасно, ежеминутно отдавать себя людям, потому что он до глубины души потрясен страданиями человечества – своими собственными. И вот только потому, что он хочет проповедовать, помогать людям, быть человеком среди людей, его обрекли на изучение сухой бесплодной науки – греческого и латинского. Он взял на себя это испытание, словно бросив вызов собственной натуре, ринулся на штурм школьной премудрости. И все же очень скоро он убедился, что занятия лишь угнетают и изнуряют его. «Наука нелегка, старина, но я должен выстоять», – писал он, вздыхая, своему брату.

«Выстоять, не отступать!» – каждый день повторял он себе. Как ни бунтовала его натура, он пересиливал себя и упорно возвращался к склонениям и спряжениям, изложениям и сочинениям, нередко засиживаясь над книгами до полуночи, стремясь как можно скорее одолеть науку, преградившую ему путь к людям, – науку, без которой он не может нести им слово Христа.

«Я много пишу, много занимаюсь, но учиться нелегко. Хотел бы я уже быть двумя годами старше». Он изнемогает под бременем тяжелой ответственности: «Когда я думаю о том, что на меня смотрят глаза многих людей... людей, которые не станут осыпать меня обычными упреками, а как бы скажут выражением своих лиц: “Мы поддержали тебя; мы сделали для тебя все, что могли; стремился ли ты к цели всем сердцем, где же теперь плоды наших трудов и наша награда?.. Когда я думаю обо всем этом и о многом другом в таком же роде... мне хочется все бросить! И все же я не сдаюсь”. И Винсент трудится, не щадя себя, стараясь целиком углубиться в сухие школьные учебники, из которых ничего путного не может для себя почерпнуть, он не в силах побороть искушение раскрыть также и другие книги, особенно произведения мистиков – например “Подражание Христу”. Высокий порыв, полное самоотречение, торжествующая любовь к Богу и людям – вот что пленяет его, уставшего от монотонной бездушной зубрежки. Склонять *gosa*, *gosae* или спрягать (по-гречески), когда мир сотрясается от стонаний! Он снова часто посещает церкви – католические, протестантские и синагоги, в своем исступлении не замечая различий между культами, набрасывает черновики проповедей. Он то и дело отвлекается от греческого и латыни. Мысли и чувства бурлят в его душе, раздирая

ее на части. «Уроки греческого (в сердце Амстердама, в сердце еврейского квартала) в очень жаркий и душный летний день, когда ты знаешь, что тебя ожидает множество трудных экзаменов у высокоученых и хитроумных профессоров, – эти уроки куда менее привлекательны, чем пшеничные поля Брабанта, наверно великолепные в такой день», – вздыхает он в июле. Все вокруг волнует его, отвлекает его внимание. Теперь он уже читает не одних только мистиков: на его столе снова появились Тэн и Мишле. И еще иногда... Он признается Тео: «Я должен сказать тебе одну вещь. Ты знаешь, что я хочу быть священником, как наш отец. И все-таки – это забавно – иногда, сам того не замечая, я во время занятий рисую...»

Она сильнее его – потребность отразить действительность, докопаться до ее смысла, выразить самого себя посредством штрихов, которые он наспех набрасывает, сидя за уроками. Он извиняется перед братом, что поддался искушению, извиняется за свой интерес к живописи и тут же пытается оправдаться: «Человеку вроде нашего отца, который столько раз и днем, и ночью спешил с фонарем в руках к больному или умирающему, чтобы рассказать ему о Том, чье слово – луч света во мраке страданий и страха смерти, такому человеку наверняка пришлось бы по душе некоторые офорты Рембрандта, как, например, “Бегство в Египет” или “Положение во гроб”».

Живопись для Винсента не только и не столько эстетическая категория. Он рассматривает ее прежде всего как средство приобщиться, причаститься к таинствам, которые открылись великим мистикам. Великие мистики объемлют необъятное силой своей веры, великие живописцы – силой своего искусства. Но цель у них одна. Искусство и вера – ложной видимости вопреки – суть лишь разные пути познания живой души мира.

Как-то раз, в январе 1878 года, дядюшка Корнелиус Маринус спросил Винсента, нравится ли ему «Фрина» Жерома. «Нет, – ответил Винсент. – Что, в сущности, значит красивое тело Фрины?» Это всего лишь пустая оболочка. Эстетские забавы не привлекают Винсента. При всей их внешней эффектности они легковесны, а потому не трогают его сердце. Слишком большой тревогой, слишком острой боязнью смутных грехов охвачен его ум, чтобы поверхностная виртуозность подобных картин не представлялась ему убогой. Душа? Где здесь душа? Только она важна. Тогда дядюшка спросил: разве Винсент не соблазнился бы красотой какой-нибудь женщины или девушки? Нет, ответил он. Его скорее привлекла бы женщина уродливая, старая, бедная или несчастная в силу той или иной причины, но обретшая душу и ум в жизненных испытаниях и горестях.

Его собственная душа словно открытая рана. Его нервы натянуты до предела. Изнемогая, он продолжает занятия, на которые сам себя обрек, но хорошо сознает, что не в этом его призвание. Он то и дело спотыкается на трудном пути, который сам избрал для себя, падает и снова встает и, шатаясь, бредет дальше в страхе, отчаянии и тумане. Его долг перед самим собой, перед родными – одолеть греческий и латынь, но он уже знает, что никогда этого не добьется. Снова – в который раз! – он огорчит поверившего ему отца, по чьим стопам он в своей гордыне хотел пойти. Он никогда не искупит своей вины, не узнает радости «избавления от безграничной тоски, вызванной крахом всех начинаний». Нет, он так просто не сдастся, он не пожалеет усилий, – о нет! – но они напрасны, тщетны, как всегда.

Ночью и днем, в любое время суток, Винсент бродит по Амстердаму, по его узким старинным улочкам, вдоль каналов. Душа его в огне, ум полон мрачных мыслей. «Я позавтракал куском сухого хлеба и стаканом пива, – рассказывает он в одном из писем. – Это средство Диккенс рекомендует всем покушающимся на самоубийство как верный способ на какое-то время отвлечься от своего намерения».

В феврале к нему ненадолго приехал отец, и тут Винсент с новой силой ощутил раскаяние и любовь. Невыразимое волнение охватило его при виде сидящего пастора, в аккуратном черном костюме, с тщательно расчесанной бородкой, оттеняемой белой манишкой сорочки. Разве не он, Винсент, виновен в том, что поседел, поредели волосы отца? Разве не он причина

тому, что отцовский лоб избороздили морщины? Он не мог без боли глядеть на побледневшее лицо отца, где светились мягким блеском кроткие, добрые глаза. «Проводив нашего Па на вокзал, я глядел вслед поезду, покуда он не скрылся с глаз и не рассеялся дым паровоза, затем я возвратился к себе в комнату и, увидев там стул, где Па еще недавно сидел у столика, где еще со вчерашнего дня лежали книги и записи, я огорчился, как дитя, хотя и знал, что скоро снова его увижу».

Винсент корил себя за частые пропуски занятий, за то, что извлекал лишь весьма малую пользу из изучения предметов, неинтересных и ненужных ему, и это усиливало в его душе чувство вины, обостряло его отчаяние. Он без устали писал Тео, отцу с матерью. Бывало, что родители получали от него по несколько писем в день. Этот эпистолярный пароксизм, эти листки с корявыми и дышащими нервозностью фразами, половину которых невозможно было разобрать, где под конец безнадежно сливались строки, глубоко волновали родителей – сплошь и рядом они всю ночь не могли уснуть, размышляя об этих тревожных письмах, выдающих отчаяние сына. Их одолевали недобрые предчувствия. Вот уже десять, нет, одиннадцать месяцев, как Винсент учится в Амстердаме. Что с ним происходит? А вдруг он снова – в который раз – ошибся в своем призвании? Это было бы совсем обидно. Сейчас ему двадцать пять лет. И если их догадка верна, значит, он вообще не способен всерьез заняться делом, добиться положения в обществе.

Положение в обществе! – вот уж о чем менее всего помышлял Винсент, когда решил стать пастором. И если теперь у него опустились руки, то вовсе не потому, что он не завоевал прочного положения, а потому, что бремя, которое он на себя взял, придавило его, словно могильной плитой. Охваченный отчаянием, он изнемогал от жажды в пустыне книжной премудрости и, словно заблудший Давидов олень, искал, стелая, живительный источник. В самом деле, чего требовал Христос от своих учеников – учености или любви? Разве не хотел он, чтоб они зажигали в сердцах людей пламя добра? Идти к людям, говорить с ними, чтобы слабый огонек, тлеющий в их сердцах, разгорался в яркое пламя, – разве не это важнее всего на свете? Любовь – только она одна спасает и греет! А ученость, которой требует от своих священников церковь, бесполезна, холодна и уныла. «Блаженны нищие духом, ибо их есть Царство Небесное!» В тревоге и ожесточении, измученный бурей, бушующей в его сердце, Винсент настойчиво, тревожно ищет свое «я». Ищет ощупью. Его одолевают сомнения, мучительные, как спазмы. Он твердо знает только одно: он хочет быть «человеком внутренней, духовной жизни». Пренебрегая различиями, существующими между вероисповеданиями, он игнорирует также специфику разных видов человеческой деятельности, считая, что она лишь затушевывает главное, лежащее в их основе. А это главное, полагает он, можно найти повсюду – в Священном Писании и в истории революции, у Мишле и у Рембрандта, в «Одиссее» и в книгах Диккенса. Нужно жить просто, преодолевая трудности и разочарования, укреплять свою веру, «любить сколько возможно, потому что только в любви заключена истинная сила, и тот, кто много любит, творит великие дела и многое может, и то, что делается с любовью, делается хорошо». Святая «нищета духа»! Нельзя допускать, «чтобы остывал пыл твоей души, а, напротив, необходимо его поддерживать», стать по примеру Робинзона Крузо «естественным человеком», и это, добавляет Винсент, «даже если ты возвращаешься в образованных кругах, в самом лучшем обществе и живешь в благоприятных условиях». Он переполнен любовью, любовью великой очистительной силы, и ею он мечтает напоить людей. Неужели для того, чтобы дать людям любовь, переполняющую его сердце, он непременно должен уметь переводить все эти фразы, злорадно смотрящие на него с унылых страниц учебника? Зачем ему нужна эта суетная, бесполезная наука?

Винсент не в силах дольше терпеть, и в июле, спустя год и три месяца после приезда в Амстердам, он оставляет свои занятия – сухую мертвую премудрость – и возвращается в Эттен. Он не создан для кабинетной деятельности пастора, для безмятежной службы, для

всех этих бесплодных упражнений. Ему надо служить людям, гореть, надо обрести самого себя, сгорая в этом огне. Он весь огонь – огнем ему и быть. Нет, он не станет священником. Он посвятит себя настоящей миссии – такой, где сразу сможет найти приложение своим силам. Он будет проповедником, он понесет Слово Божье в тот черный край, о котором писал Диккенс, где во чреве земли, под породой, притаилось пламя.

Куда идешь ты, Винсент Ван Гог? Кто ты, Винсент Ван Гог? Там, в Зюндерте, на кладбище, стрекочет в листьях высокой акации сорока. Иногда она садится на могилу твоего брата.

* * *

Свершилось то, чего так боялись пастор и его жена. И все же при виде Винсента они ощутили скорее печаль, чем досаду. Конечно, их постигло сильное разочарование. Но еще больше их огорчил жалкий вид сына. «Он все время ходит, понуриив голову, и неустанно выискивает для себя всевозможные трудности», – говорил о нем отец. Да, это правда, для Винсента нет и не может быть ничего легкого. «Не следует искать в жизни слишком легких путей», – писал он Тео. Сам он бесконечно далек от этого! И если он покинул Амстердам, то, уж верно, не только потому, что ему трудно давалась наука, вызывавшая у него отвращение. Трудность эта была весьма банального, материального свойства. Она являлась всего лишь обыкновенной преградой на проторенном пути, по которому издавна устремлялась толпа. Эта трудность не из тех, которые можно одолеть только ценою жизни, ценою беззаветной жертвы. Впрочем, исход борьбы безразличен. Важна сама отчаянная схватка. От всех этих испытаний и поражений, которые он претерпел на своем пути, у Винсента осталась мрачная, терпкая горечь, возможно приправленная печально-сладостным чувством самобичевания, сознанием невозможности искупления. «Возлюбивший Бога не вправе рассчитывать на взаимность» – мрачное величие этого изречения Спинозы перекликается с суровыми словами Кальвина, неизменно звучавшими в сердце Винсента: «Скорбь лучше радости».

Пастор Джонс, тот самый, с которым Винсент в бытность свою в Айзлуорсе вел столько страстных споров на богословские темы, когда начал читать свои первые проповеди английским рабочим, неожиданно приехал в Эттен. Он предложил помочь Винсенту в осуществлении его планов. В середине июля в обществе пастора Джонса и отца Винсент едет в Брюссель представиться членам Евангелического общества. В Брюсселе он встретился с пастором де Йонгом, затем побывал в Малине у пастора Питерсена и, наконец, в Руселаре у пастора ван дер Бринка. Винсент хотел поступить в духовное миссионерское училище, где от учеников требовали меньше богословской премудрости, чем энтузиазма и умения воздействовать на души простых людей. Это именно то, чего он желал. Впечатление, которое он произвел на «этих господ», оказалось в основном благоприятным, и, заметно успокоенный, он вернулся в Голландию ждать их решения.

В Эттене Винсент упражнялся в составлении проповедей, а не то рисовал, старательно копируя «пером, чернилами и карандашом» ту или иную гравюру Жюль Бретона, восхищаясь его сценами из сельской жизни.

Наконец его приняли условно в маленькую миссионерскую школу пастора Бокма в Лакене, около Брюсселя. Итак, во второй половине июля Винсент снова едет в Бельгию. Здесь ему предстоит проучиться три месяца, по истечении которых, если им будут довольны, он получит назначение. Умудренные горьким опытом, родители не без опасений снарядили его в новый путь. «Я всегда боюсь, – писала мать, – что Винсент, чем бы он ни занялся, испортит себе все своими чудачествами, своими необычными представлениями о жизни». Она хорошо знала своего сына, эта женщина, от которой он унаследовал чрезмерную чувствительность и пристальный взгляд изменчивых глаз, нередко загоравшихся странным огнем.

В приподнятом настроении Винсент приехал в Брюссель. Помимо него, у пастора Бокма жили еще только два ученика. Совершенно не заботясь о своей внешности, Винсент одевался как попало, помышляя лишь о задаче, которой он себя посвятил. И всем этим, сам того не ведая, всколыхнул тихую миссионерскую школу. Начисто лишенный красноречия, он тяжело переживал этот недостаток. Он страдал от затрудненности речи, от скверной памяти, мешавшей ему запоминать тексты проповедей, злился на самого себя и, работая через силу, совсем потерял сон и исхудал. Нервозность его достигла предела. Он плохо переносил поучения и советы – на всякое замечание, сделанное в резком тоне, он отвечал взрывом ярости. Захлестнутый порывами, которые он не в силах обуздать, ослепленный этой стихией и выброшенный ею в гущу людей, он не видит их, не хочет их видеть. Ему невдомек, что куда бы лучше поискать общий язык с окружающими его людьми, что жизнь в обществе связана с некоторыми уступками. Увлекаемый вихрями страстей, оглушенный бурным течением собственной жизни, он подобен потоку, прорвавшему плотину. И в тихом училище, рядом с двумя бесцветными соучениками, старательно и смиренно готовящимися к миссионерской работе, ему очень скоро становится не по себе. Слишком уж он непохож на них, словно вылеплен из другого теста – подчас он сам сравнивает себя с «котом, забравшимся в чужую лавку».

Пожалуй, это единственное, в чем согласны с ним «господа из Брюсселя». Смущенные и недовольные его поведением, они объявили его усердие неуместным, а его рвение – несовместимым с достоинством сана, на который он притязал. Еще немного – и они напишут эттенскому пастору, чтобы он взял своего сына назад.

Эта враждебность, эта угроза никак не способствуют улучшению его настроения. Винсента гнетет одиночество, этот плен, на который его обрекает собственная натура, куда бы он ни попал. Ему не сидится на месте, не терпится покинуть школу, взяться наконец за живое дело среди людей. Он хотел бы как можно скорее выехать в угольный район, чтобы понести горнякам Слово Божье. В тоненьком учебнике географии он отыскал описание каменноугольного бассейна Боринажа, расположенного в Эно, между Кьевреном и Монсом, у французской границы, и, прочитав его, ощутил прилив восторженного нетерпения. Нервозность его всего лишь плод неудовлетворенности, недовольства собой и другими, смутного и вместе с тем властного призвания.

Своему брату он послал в ноябре рисунок, выполненный словно бы машинально, с изображением кабачка в Лакене.

Кабачок назывался «На шахте», хозяин его торговал также коксом и углем. Нетрудно понять, какие мысли пробудились в душе Винсента при виде этой унылой лачуги. Неумело, но старательно пытался он воссоздать ее на бумаге, сохраняя на голландский манер каждую деталь, стараясь передать специфический облик каждого из пяти окон. Общее впечатление мрачное. Рисунок не оживлен присутствием человека. Перед нами – покинутый мир, точнее, мир, ведающий, что он покинут: под ночным небом, затянутым тучами, стоит пустой дом, но, несмотря на заброшенность и пустоту, в нем угадывается жизнь – странная, почти зловещая.

«Мне очень хотелось бы делать беглые наброски с бесчисленных предметов, которые я встречаю на моем пути, – с затаенной грустью признался Винсент своему брату Тео, посылая ему рисунок, – но это отвлекло бы меня от основного занятия, так что лучше уж и не начинать». И тут же добавил: «Вернувшись домой, я сразу засел за проповедь о бесплодной смоковнице».

Как видно, Ван Гог упоминает здесь о проповеди, словно в оправдание того, что потратил время на рисунок, но та же проповедь могла бы служить комментарием к его наброску. Оба они – плод одной и той же сокровенной думы, и не столь уж трудно понять, почему строки Евангелия от Луки так взволновали Винсента.

«Некто имел в винограднике своем посаженную смоковницу, и пришел искать плода на ней, и не нашел; и сказал виноградарю: “вот, я третий год прихожу искать плода на этой смоковнице и не нахожу; срубь ее: на что она и землю занимает?”»

Но он сказал ему в ответ: «господин! оставь ее и на этот год, пока я окопаю ее и обложу навозом. Не принесет ли плода; если же нет, то в следующий год срубишь ее» (гл. XIII, 6–9).

Разве Винсент не похож на эту бесплодную смоковницу? Ведь и он, подобно ей, тоже до сих пор не приносил плодов. И все же – не рано ли объявлять его безнадежным? Не лучше ли оставить ему хоть маленькую надежду? Стажировка в Брюсселе подходит к концу. Он ждет, надеется, что скоро сможет уехать в Боринаж проповедовать Евангелие. «Прежде чем начать проповедовать и отправиться в свои дальние апостольские странствия, прежде чем приняться за обращение неверных, апостол Павел провел три года в Аравии, – пишет он брату в том же ноябрьском письме. – Если бы я мог в течение двух-трех лет спокойно работать в подобном краю, неустанно учась и наблюдая, то, вернувшись, я многое мог бы сказать, к чему стоило бы прислушаться». *Post tenebras lux*. Будущий миссионер написал эти слова «со всем необходимым смирением, но и со всей откровенностью». Он убежден, что в этом мрачном краю, в общении с углекопами, в нем созреет лучшее, что заложено в нем, и даст ему право обращаться к людям, нести им истину, которую он хранит в своем сердце, право начать свой величайший жизненный поход. Надо лишь терпеливо окапывать и обкладывать навозом бесплодную смоковницу, и тогда в один прекрасный день она принесет долгожданные плоды.

В этом длинном ноябрьском письме к Тео, изобилующем самыми различными мыслями, столькими невольными признаниями, ясно проступают также новые смутные устремления: Винсент беспрестанно перемежает свои богословские размышления суждениями о произведениях искусства. В его письме то и дело мелькают имена художников – Дюрера и Карло Дольчи, Рембрандта, Коро и Брейгеля, которых он вспоминает по всякому поводу, рассказывая об увиденном и пережитом, о своих мыслях, привязанностях и опасениях. И вдруг восторженно восклицает: «Сколько красоты заключено в искусстве! Надо лишь запоминать все, что видишь, тогда тебе не страшны ни скука, ни уединение, и ты никогда не будешь до конца одинок».

* * *

Стажировка в школе пастора Бокма подошла к концу. Но, увы, завершилась она неудачей – Евангелическое общество отказалось направить Винсента в Боринаж. Снова – в который раз – рухнули его надежды. Винсент был совершенно подавлен. Его отец примчался в Брюссель. Но Винсент уже взял себя в руки. Он быстро оправился от отчаяния. Напротив, неожиданный удар вызвал у него прилив решимости. И он твердо отказался последовать за отцом в Голландию. Что ж, раз его отвергли, он вопреки решению Евангелического общества, на свой страх и риск поедет в Боринаж и, чего бы это ему ни стоило, выполнит миссию, о которой так страстно мечтал.

Покинув Брюссель, Винсент направился в район Монса и, поселившись в Патюраже, в самом сердце шахтерского края, сразу принялся за работу, которую не захотели ему поручить. Готовый безраздельно служить людям, он проповедовал учение Христово, навещал больных, преподавал детям катехизис, учил их читать и писать, трудился, не щадя своих сил.

Кругом – бескрайняя равнина, где высятся одни лишь подъемные клетки угольных шахт, равнина, усеянная терриконами, черными горами пустой породы. Черен весь этот край, неразрывно связанный с трудом в чреве земли, или, вернее, он весь в сером цвете, в грязи. Серое небо, серые стены домов, грязные пруды. Одни лишь красные черепичные крыши несколько оживляют это царство мрака и нищеты. В промежутках между горами пустых пород кое-где еще сохранились клочки полей, пятна чахлой зелени, но уголь понемногу заполняет все; волны этого окаменевшего океана сажи вплотную подступают к тесным садикам, где в теплые дни робко тянутся к солнцу хилые, пыльные цветы – далии и подсолнухи.

Кругом – люди, которым Винсент хочет помочь словом, шахтеры с костлявыми, изъеденными пылью лицами, обреченные проводить весь свой век с отбойным молотком и лопатой

в руках во чреве земли, видеть солнце лишь раз в неделю – по воскресеньям; женщины, тоже поработанные шахтой: широкобедрые откатчицы, толкающие вагонетки с углем, девчушки, с малых лет работающие на сортировке угля. Господи, господа, что сделали с человеком? Точно так же, как два года назад в Уайтчепеле, Винсент потрясен человеческим горем, которое он воспринимает, как свое собственное, острее, чем собственное. Ему больно видеть сотни мальчуганов, девчушек, женщин, изнуренных тяжким трудом. Больно видеть шахтеров, каждый день в три часа утра спускающихся со своими лампами в забой, чтобы выйти оттуда лишь спустя двенадцать-тринадцать часов. Больно слушать их рассказы о своей жизни, о душных забоях, где им часто приходится работать, стоя в воде, между тем как по груди и лицу градом стекает пот, об обвалах, постоянно угрожающих смертью, о нищенском заработке. Много лет уже не было таких скудных заработков, как теперь: если в 1875 году горняки получали по 3,44 франка в день, то в нынешнем, 1878 году их заработок составляет всего лишь 2,52 франка. Винсент жалеет даже слепых кляч, глубоко под землей перевозящих вагонетки с углем, – им суждено сдохнуть, так и не побывав на поверхности. Все, что видит Винсент, причиняет ему боль. Охваченный бесконечным состраданием, он рад малейшей возможности служить людям, помогать им, служить, отдавая всего себя, совсем позабыв о себе. Заботиться о своих мелких интересах, о карьере, когда кругом горе и нищета, – такого Винсент даже не мог бы себе вообразить. Он поселился на рю д'Эглиз, сняв комнату у некоего торговца-разносчика по фамилии Ван дер Хаген, и по вечерам давал уроки его детям. Чтобы обеспечить себе пропитание, он выполнял по ночам копировальные работы. Благодаря посредничеству отца он получил заказ на четыре большие карты Палестины, и за эту работу ему уплатили сорок флоринов. Так он и жил, перебиваясь со дня на день. Но стоит ли обращать внимание на то, как ты живешь, на нищету, которая тебя душит, когда важно лишь одно: возвещать, возвещать без устали Слово Божье и помогать людям.

Этот проповедник без какой-либо официальной миссии, рыжий детина с упрямым лбом и угловатыми жестами, совсем не умел заботиться о себе; одержимый единственной страстью, которой безраздельно отдавал всего себя, он мог остановить на улице человека, чтобы прочесть ему строки Священного Писания, и было видно, что всеми его стремительными, порой неистовыми поступками движет безграничная вера.

Этот миссионер поначалу поразил всех. Поразил, как поражает всякое необычное явление. Но мало-помалу люди стали поддавать под обаяние его личности. К нему прислушивались. Даже католики и те слушали его. От этого чудаковатого парня исходила странная притягательная сила, которую живо ощущали простые люди, не испорченные умничаньем и утонченным воспитанием и сохранившие нетленными основные человеческие добродетели. При нем смолкали дети, зачарованные его рассказами и в то же время напуганные внезапными вспышками его гнева. Иногда, желая вознаградить их за внимание, Винсент пользовался случаем удовлетворить свою страсть к рисунку: для этих обездоленных ребятишек, не знающих игрушек, он рисовал картинки, которые тут же раздавал.

Слух о деятельности Винсента в Патюраже вскоре дошел до членов Евангелического общества. Они подумали, что голландец все же может им пригодиться.

Пересмотрев решение, принятое в ноябре, общество дало Винсенту официальное поручение сроком на полгода. Его назначили проповедником в Вам, другой маленький городок угольного бассейна, в нескольких километрах от Патюража. Винсенту положили жалованье – пятьдесят франков в месяц – и поставили под начало местного священника господина Бонта, жившего в Варкини.

Винсент в восторге. Наконец-то он сможет безраздельно посвятить себя своей миссии. Наконец-то он искупит все прошлые ошибки. Перед жителями Вама он предстал совершенно опрятным – таким, каким может быть только голландец, в приличном костюме. Но уже на другой день все переменилось. Обойдя дома Вама, Винсент раздал беднякам всю свою одежду

и деньги. Отныне он будет делить свою жизнь с нищими, жить для нищих, среди нищих, как велел своим последователям Христос: «Если хочешь быть совершенным, пойди, продай имение твое и раздай нищим; и будешь иметь сокровище на небесах; и приходи и следуй за Мною». И Винсент облачился в старую военную куртку, скроил себе обмотки из мешковины, нахлобучил на голову кожаную шахтерскую фуражку и обул деревянные башмаки. Мало того, движимый сладостной потребностью в самоуничтожении, он вымазал себе руки и лицо сажей, чтобы внешне ничем не отличаться от углекопов. Он будет с ними, как был бы с ними Христос. Сына Человеческого нельзя потчевать лицемерием. Надо сделать выбор: или, заключив Христа в свое сердце, жить той жизнью, какой он требует от тебя, или же перейти в стан фарисеев. Нельзя в одно и то же время проповедовать учение Христово и предавать его.

Винсент поселился у булочника Жан-Батиста Дени, в доме 21, по улице Пти-Вам, чуть более уютном, чем прочие дома поселка. Дени договорился с Жюльеном Содуайе, владельцем Салона Крошки, заведения, представлявшего собой нечто среднее между дансингом и кабаре, что Винсент будет читать в этом зале свои проповеди. Салоном в Бориначе называли всякий зал, предназначенный для собраний (а Салон Крошки он был назван в честь толстощекой мадам Содуайе). Салон Крошки, чуть в стороне от поселка, выходил окнами на Клерфонтенский лес, раскинувшийся в глубине Вамской долины, неподалеку от Варкиньи. Природа здесь совсем рядом. Здесь течет, орошая хилые садики, грязный ручеек. Там и тут – скрюченные ивы. Чуть подальше – строй тополей. Узкие тропки, окаймленные колючим кустарником, убегают к пашням. Горняцкие поселки вверху на плато, рядом с шахтами. На дворе зима. Валит снег. Не в силах больше ждать, Винсент начал выступать с проповедями в Салоне Крошки, в узком зале с белеными стенами под почерневшими от времени балками потолка.

Как-то раз Винсент рассказывал о македонянине, явившемся Павлу в одном из его видений. Чтобы углекопы представили себе его внешний облик, Винсент сказал, что он похож «на рабочего с печатью боли, страдания и усталости на лице... но с бессмертной душой, жаждущей непреходящего блага – Слова Божьего». Винсент говорил, и его слушали. «Меня слушали со вниманием», – писал он. Все же в Салон Крошки редко навевались посетители. Булочник Дени, его жена и трое сыновей составляли ядро этого немногочисленного общества. Но если бы даже никто не пожелал его слушать, Винсент все равно стал бы проповедовать, обращаясь, если нужно, хотя бы вон к тому каменному столу в углу зала. Ему поручили проповедовать Слово Божье – он будет проповедовать Слово Божье.

Вам околдовал его. «В эти последние темные дни перед Рождеством, – писал он брату, – выпал снег. Все вокруг напоминало картины Средневековья у Брейгеля Старшего, как и работы многих других художников, поразительно умевших передать своеобразное сочетание красного и зеленого, черного и белого». Дополнительные цвета в окрестных пейзажах неизменно привлекают взгляд нового проповедника. К тому же эти пейзажи все время напоминают ему чьи-нибудь картины. «То, что я вижу здесь, всегда наводит на мысль о произведениях Тейса Мариса или Альбрехта Дюрера». Никто никогда еще не замечал стольких красот в здешних местах, как этот человек, жадно воспринимающий любые впечатления. Если изгороди кустарника, старые деревья с их причудливыми корнями ему «напоминают пейзаж на гравюре Дюрера «Рыцарь, дьявол и смерть», то они наводят его также на мысль о Брабанте, в котором он провел детство, и даже в силу причудливой игры ассоциаций – на мысль о Священном Писании: «В последние дни шел снег, – пишет он, – и казалось, будто это письма на белой бумаге, словно бы страницы Евангелия».

Временами, застыв на обочине дороги или невдалеке от шахты, он рисовал. Он не мог удержаться от этого «развлечения».

Разумеется, его миссия несколько от этого не страдала. Он читал проповеди, ухаживал за больными, учил грамоте детей, присутствовал на чтениях Библии в протестантских семьях. По вечерам он встречал у выхода из шахты углекопов, закончивших смену. Утомленные дол-

гим рабочим днем, они осыпали его бранью. «Брани меня, брат мой, ибо я это заслужил, но прислушайся к Слову Божьему», – кротко отвечал он. Дети и те насмеялись над Винсентом, но он все так же терпеливо занимался с ними, старательно учил их и баловал.

Мало-помалу рассеялись враждебность и недоверие, насмешки смолкли. В Салоне Крошки стало более людно. Все деньги, которые получал Винсент, он отдавал бедным. И время свое и силы он тоже отдавал всякому, кто пожелает. Заходя в дома горняков, он предлагал женщинам свою помощь, варил обед и стирал. «Дайте мне работу, ибо я ваш слуга», – говорил он. Воплощенное смирение и самоотречение, он отказывал себе во всем. Немного хлеба, риса и паточки – вот все, чем он питался. Большую часть времени он ходил босой. Госпоже Дени, укорявшей его за это, он ответил: «Обувь – слишком большая роскошь для посланца Христа». Ведь Христос говорил: «Не берите ни мешка, ни сумы, ни обуви». Винсент ревностно и дотошно следовал велениям Того, чье Слово он взялся нести людям. Многие углекопы вначале приходили слушать Винсента только из благодарности: одному он купил на свои деньги лекарство, у другого учил детей – вот они нехотя и плелись в Салон Крошки. Но вскоре они уже стали ходить туда по доброй воле. Винсент по-прежнему не блистал красноречием. Читая проповедь, он усиленно жестикулировал. И все же он умел растрогать, взволновать сердца. Углекопы подчинялись обаянию человека, который, как говорила мадам Дени, был «не такой, как все».

Вот только пастор Бонт был куда менее доволен Винсентом. Он не раз выговаривал юноше, что тот неверно понимает свою миссию, и не скрывал, что его поведение представляется ему неприличным. Чрезмерная экзальтация вредит интересам религии. И к тому же не следует смешивать символы и реальность! Поспокойнее, прошу вас! Понутив голову, Винсент обещал исправиться, но ни в чем не изменил своего поведения.

Да и как он мог его изменить? Разве все то, что он делает, не отвечает велениям Христа? И неужели бедность, нищета вокруг не побудили бы всякого доброго человека следовать его примеру? Верно, и у шахтеров бывают мгновения радости, когда они предаются грубоватым забавам: состязаниям лучников, соревнованиям курильщиков, пляскам и песням. Но эти мгновения редки. Они не дают людям забыть свои беды, свою трудную, унылую жизнь. Так кто же, если не он, проповедник Евангелия, подаст им пример самоотречения? Кто поверит словам, слетающим с его уст, если сам он не станет их живым подтверждением? Он должен открыть все души благодати Евангелия, переплавить свою боль в доброту.

Винсент продолжал свое дело. «Есть только один грех, – говорил он, – это творить зло», и животные, подобно людям, нуждаются в сострадании. Он запрещал детям мучить майских жуков, подбирал и лечил бездомных зверей, купал пташек, чтобы тут же выпустить их на волю. Однажды, в саду у супругов Дени, он подобрал гусеницу, которая ползла по дорожке, и бережно отнес ее в укромное место. О «Цветочки» Винсента Ван Гога! Как-то раз один углекоп набросил на себя мешок, и на спине его оказалась надпись: «Осторожно, стекло!» Над углекопом смеялись все вокруг, один только Винсент огорчился. Вот блаженный! Все стали потешаться над его жалостливыми словами.

Винсент и впрямь был полон смирения и кротости, и часто его одолевала безысходная тоска, но порой его охватывали порывы исступления: однажды, когда разразилась бурная гроза, Винсент устремился в лес и, прогуливаясь под дождем, который стекал с него ручьями, восторгался «великим чудом Творца». Кое-кто из жителей Вама, разумеется, считал его безумцем. «Наш спаситель Христос тоже был безумец», – отвечал он.

Неожиданно в округе вспыхнула эпидемия тифа. Она косила всех подряд – старых и молодых, мужчин и женщин. Лишь немногих пощадила болезнь. Но Винсент по-прежнему на ногах. С восторгом использует он редкую возможность удовлетворить свою страсть к подвижничеству. Неуязвимый, неумолимый, он днем и ночью отдает все силы уходу за больными, пренебрегая опасностью заражения. Он давно раздал все, что имел, оставив себе лишь жал-

кие лохмотья. Он не ест, не спит. Он бледен и худ. Но вместе с тем он счастлив, готов к другим неисчислимым жертвам. Стольких уже постигла беда, столько людей, оставшись без заработка, обречены на полную нищету – разве может он в этих условиях тратить на себя так много денег, занимать целую комнату в уютном доме? Горя жадной самоотречения, он собственными руками соорудил для себя лачугу в глубине сада и на охапке соломы устроил себе ночлег. Странствие лучше радости. Странствие – это очищение.

А сострадание – это любовь, и надо было делать все, чтобы помогать людям. Может быть, люди наконец ощутили, какую могучую любовь питает к ним Винсент? Влияние его, бесспорно, возросло. Теперь люди ждут от него чудес. Когда по жребию назначают рекрутов, матери призывников суеверно просят того, кого теперь уважительно именуют «пастором Винсентом», указать им какое-нибудь изречение из Евангелия – быть может, этот талисман избавит их сына от тяжелой солдатской лямки.

Однако, увидев лачугу, которую сколотил для себя Винсент, пастор Бонт, и без того смущенный его горячностью, испуганным самопожертвованием, окончательно рассвирепел. Но Винсент заупрямился. Заупрямился на свою беду, потому что как раз в это время в Вам прибыл для очередной инспекции уполномоченный Евангелического общества. «Прискорбное чрезмерное рвение», – заключил он. «Этому молодому человеку, – сообщил он обществу в своем докладе, – недостает таких качеств, как здравый смысл и умеренность, которые столь необходимы хорошему миссионеру».

Попреки, сыплющиеся на Винсента со всех сторон, огорчали матушку Дени. А ведь она и без того в отчаянии от лишений, на которые обрек сам себя ее странный жилец. Не в силах удержаться, она и сама не раз выговаривала ему, что он живет «в ненормальных условиях». Ничего этим не добившись, она решила написать в Эттен. Она ведь сама мать, и потому ее долг – рассказать пастору и его жене, что приключилось с их сыном. Видно, они полагают, что он живет у нее в тепле и уюте, а ведь он раздал все, что у него было, ровным счетом ничего себе не оставив: когда ему нужно одеться, он кроит себе рубашку из оберточной бумаги.

В Эттене пастор с женой, молча перечитывая письмо матушки Дени, печально качали головой. Значит, Винсент вернулся к своим чудачествам. Вечно одно и то же! Что же делать? Очевидно, остается одно: поехать к нему и вновь – в который раз – отчитать этого большого ребенка, который, видимо, совершенно не способен жить, как все.

Матушка Дени не солгала: неожиданно прибыв в Вам, пастор застал Винсента лежащим в лачуге; его окружали углекопы, которым он читал Евангелие.

Был вечер. Тусклый свет лампы освещал эту сцену, рисуя причудливые тени, подчеркивая угловатые черты изнуренных лиц, силуэты благоговейно склоненных фигур, наконец, пугающую худобу Винсента, на лице которого мрачным огнем горели глаза.

Подавленный этим зрелищем, пастор подождал, пока кончится чтение. Когда шахтеры ушли, он сказал Винсенту, как тяжело ему видеть сына в подобной нищенской обстановке. Он что, убить себя хочет? Разумно ли так себя вести? Своим безрассудным поведением он немногих привлечет под знамя Христа. Всякий миссионер, как и священник, должен соблюдать требуемое его рангом известную дистанцию, не ронять своего достоинства.

Винсент угрюмо последовал за отцом и вернулся в прежнюю комнату в домике мадам Дени. Он любил отца – пусть тот спокойно едет домой. Но что думать самому Винсенту обо всех упреках, непрерывно сыплющихся на него с разных сторон? Теперь его упрекает даже отец, которому он так страстно хотел подражать. Неужели он снова ошибся в выборе? После эпидемии тифа теперь почти уже никто не звал его безумцем. Правда, бывало, на улице люди смеялись, глядя ему вслед. Но не это главное. Пастор Бонт, инспектор Евангелического общества, родной отец – все осудили истовость его веры, требовали, чтобы он обуздал свой порыв. И все же неужели он и впрямь безумец только потому, что стоит за безраздельное служение вере? Если Евангелие – истина, ограничения невозможны. Одно из двух: либо Евангелие есть

истина, и надо во всем следовать ему. Либо... либо... Третьей возможности нет. Быть христианином – разве можно свести это к нескольким жалким жестам, лишенным подлинного смысла? Надо отдаться вере душой и телом: телом и душой служить, посвятить себя служению людям, телом и душой устремиться в огонь и гореть ярким пламенем. Идеала можно достичь лишь с помощью идеала. Безумец ли он? Разве не следует он всем велениям веры, которая горит в его сердце? Но может быть, эта вера помutilа его рассудок? Может быть, безумие верить, что добродетелью можно спастись? Господь спасет того, кого пожелает, и проклянет того, кого захочет проклясть, – о, ирония веры! Человек изначально осужден или избран. «Кто возлюбил Господа, не вправе рассчитывать на взаимность». Может быть, это сам Господь – устами хулителей Винсента – изрек страшное слово проклятия? Неужели все тщетно, угнетающе тщетно? Взять, к примеру, его самого, Винсента Ван Гога: сколько бы ни старался он во искупление своей вины карать себя самой суровой карой, сколько бы ни провозглашал он свою любовь и веру, ему вовеки не стереть пятно, заклеившее его с колыбели; этой муке не будет конца.

Куда идешь ты, Винсент Ван Гог? Упрямый, больной, с отчаянием в сердце, он продолжал свой путь. Через тьму к свету. Надо опуститься ниже, совсем низко, познать предел человеческого отчаяния, погрузиться в земную тьму. «Не надо смешивать символ с реальностью» – как бы не так! Символы, реальность – все в одном, все слилось в единую абсолютную истину. Самые несчастные люди те, чья жизнь проходит в черном чреве земли. Винсент пойдет к ним.

В апреле он спустился в шахту Маркасс и шесть часов подряд, на глубине семьсот метров, блуждал от штольни к штольне. «У этой шахты, – писал он брату, – дурная слава, потому что здесь погибло много людей – при спуске, при подъеме, от удушья или при взрыве рудничного газа, при затоплении штрека подземными водами, при обвале старых штолен и так далее. Это – страшное место, и с первого взгляда вся округа поражает своей жуткой мертвенностью. Большинство здешних рабочих – изнуренные лихорадкой бледные люди; вид у них изможденный, усталый, огрубелый, людей преждевременно состарившихся. Женщины обычно тоже мертвенно-бледные и увядшие. Вокруг шахты – жалкие лачуги углекопов и несколько засохших деревьев, совершенно почерневших от копоти, изгороди из колючего кустарника, груды отбросов и шлака, горы негодного угля и т. д. Марис создал бы из этого прекрасную картину», – заключает Винсент.

Еще и другие выводы сделал Винсент из своего путешествия в чрево земли. Никогда прежде не мог он вообразить, что доля углекопов настолько страшна. Внизу, во чреве земли, он вознегодовал против тех, кто навязал своим братьям такие кошмарные условия труда, не обеспечил воздуха в штольнях и не обезопасил доступа к ним, нисколько не заботясь об облегчении участи углекопов, и без того крайне тяжелой. Весь дрожа от негодования, «пастор Винсент» решительным шагом направился в дирекцию шахты и потребовал, чтобы во имя братства людей, во имя простой справедливости были приняты срочные меры охраны труда. От этого зависит здоровье, сплошь и рядом даже жизнь тружеников подземного мира. Хозяева ответили на его требования издевательским смехом и бранью. Винсент настаивал, бушевал. «Господин Винсент, – крикнули ему, – если вы не оставите нас в покое, мы упрячем вас в сумасшедший дом!» «Сумасшедший» – снова выползло, издевательски ухмыляясь, это гнусное слово. Сумасшедший – ну конечно же! Только безумец может посягнуть на хозяйскую прибыль ради ненужных усовершенствований! Только безумец может потребовать отказа от столь выгодных условий – ведь из каждых 100 франков, вырученных за уголь, выданный на гора, акционеры получают чистыми 39. Достаточно сопоставить эти цифры, и безумие Винсента Ван Гога станет очевидным.

Приехав сюда, в Боринаж, Винсент оказался в одном из тех мест, где рождалось современное общество и формировались организации, способные уничтожить человека своим могуществом. Эта холмистая равнина, вся в сером цвете, печальная и унылая, с ее лачугами из грязного кирпича и горами шлака, как бы олицетворяет судьбу здешних мужчин и женщин, устало

тянущих свою лямку. Мог ли Винсент не сочувствовать им? Их горе сродни его горю. Подобно ему, обездоленные, отверженные, они знают одну только муку. Никто, ничто не отзывается на их стенания. Они одни, потерянные в этом жестоком мире. Низкое хмурое небо угрожающе нависло над землей. Под этим серым мертвенным небом бредет по равнине Винсент. Его обуравляют сомнения и вопросы, тревога и ужас. Никогда еще он так отчетливо не сознавал свое страшное одиночество. Но может ли быть иначе? Его душа, жаждущая идеала, чужда, совершенно чужда этому миру, обезличенному механизацией, жестокому, беспощадному и уродливому. От этого бесчеловечного мира он отторгнут страданием, человек, знающий одни лишь слова любви, воплощенная доброта; человек, несущий другим людям дружбу, братство, божественную справедливость, он словно живое обвинение этому миру.

16 апреля на шахте Аграпп, в расположенном неподалеку поселке Фрамери, произошел чудовищный взрыв рудничного газа. Всего лишь спустя несколько недель после эпидемии тифа Боринаж вновь посетили горе и смерть. Взрывом было убито несколько углекопов. Из шахты вынесли множество раненых. Увы, на шахте не было больницы – дирекция считала, что это слишком дорого. Раненых много, врачи спешат оказать первую помощь тем, у кого есть надежда выжить. И Винсент тоже здесь. Разве мог он не прийти? Он всюду, где бы ни грянула беда, безотказно отзывается на всякое горе. Как всегда, он, ничего не жалея, помогает чем только может: исступленно рвет на бинты остатки своего белья, покупает лампадное масло и воск. Но в отличие от врачей он склоняется над теми из углекопов, кто получил самые тяжкие раны. Винсент не имеет ни малейшего представления о медицине. Он может только любить. Любовно, дрожа от волнения, он склоняется над телами обреченных, брошенных на произвол судьбы. Он слышит хрипы умирающих. Что его любовь против зла мира сего? Что может он, Винсент, несчастный безумец? Как спасти, как вылечить этих людей? Неловким жестом он приподнимает голову одного из пострадавших. Углекоп истекает кровью, его лоб – сплошная рана. Он стонет, когда к нему прикасается Винсент. Но можно ли нежнее Винсента коснуться рукой этого изуродованного, почерневшего, окровавленного лица? Врачи объявили его безнадежным. Зачем же тогда заботиться о нем? Но стоит ли скупиться на заботу? Почему бы не проявлять всегда и везде побольше заботы о людях? Винсент отнес углекопа в его лачугу. Потом он сидел у его одра, день за днем, ночь за ночью. Наука приговорила этого человека к смерти, но любовь, исступленная любовь Винсента рассудила по-иному. Этот человек должен жить. Он будет жить! И мало-помалу, день за днем, ночь за ночью, неделя за неделей, раны шахтера затягивались, и он возвратился к жизни.

«Я увидел рубцы на лбу этого человека, и мне показалось, что передо мной воскресший Христос», – говорил Винсент.

Винсент ликовал. Он совершил подвиг, первый в своей жизни подвиг из тех, что требовал от людей Христос, «самый великий из всех художников», который, «отвергнув мрамор, глину и краски, избрал объектом своих творений живую плоть». Винсент победил. Любовь всегда побеждает.

Да, любовь всегда побеждает. «Молитвы пришел гнусавить...» проворчал пьянчуга, раненный во время катастрофы на шахте в Маркассе, когда в его доме появился «пастор Винсент», предлагая ему свое участие и помощь. Пьянчуга был мастер ругаться и угостил Винсента отборной бранью. Но любовь всегда побеждает. Винсент посрамил неверующего.

Сколь многое мог бы он, Винсент, свершить, если бы не был так трагически одинок и слаб! Он чувствовал, как вокруг него смыкается враждебное кольцо. Евангелическое общество не оставляло его в покое: к нему послали пастора Рошдье, чтобы призвать его, по выражению пасторши Бонт, «к более трезвой оценке вещей». Ему угрожают увольнением с должности проповедника, если он и впредь будет поступать подобным образом и постоянно позорить церковь своим скандальным поведением. Винсент знает, что он обречен. Но он продолжает идти своим путем. Он пройдет его до конца независимо от исхода этой безнадежной борьбы.

Он не из тех, кому необходимо надеяться, чтобы делать свое дело, и преуспевать, чтобы его продолжать. Он из тех, кто заведомо видит свою обреченность, но не признает себя побежденным и не покоряется. Он из племени бунтарей.

Возможно, он даже сказал нечто подобное шахтерам. Эпидемия тифа, взрыв рудничного газа принесли людям столько бед, произвол и жестокость хозяев угольных шахт столь очевидны, что углекопы решились на забастовку. Речи Винсента, безраздельно завоевавшего их сердца, быть может, в какой-то мере ускорили их решение. Как бы то ни было, Винсента сочли одним из главарей забастовки. Он организовал сбор средств в помощь бастующим, спорил с хозяевами шахт. Однако самих забастовщиков, склонных излить свое негодование в громких криках и размахивавших кулаками, он учил кротости и любви. Он не позволил им поджечь шахты. «Не надо насилия, – говорил он. – Берегите свое достоинство, ведь насилие убивает все доброе в человеке».

Доброта и мужество его неисчерпаемы. Надо бороться, бороться до конца. И все же завтра углекопы снова спустятся в шахту. А что будет с Винсентом?.. Он знает, что он обречен, забыт и брошен на произвол судьбы, как шахтеры в глубине штольни, как тот приговоренный врачами к смерти несчастный, которого он выходил. Он одинок, один на один с неистощимой любовью, сжигающей его душу, с этой всепожирающей неуголимой страстью. Куда идти? Что делать? Как справиться с этим сопротивлением судьбы? Может быть, его удел погибнуть, исцхнуть в этой борьбе? Иногда по вечерам он сажает к себе на колени одного из мальчуганов Дени. И вполголоса, сквозь слезы он рассказывает ребенку о своем горе. «Сынок, – говорит он ему, – с тех пор как я живу на свете, я чувствую себя как в тюрьме. Все считают, что я ни на что не годен. И все же, – сквозь слезы добавляет он, – я должен кое-что совершить. Чувствую: я должен сделать нечто такое, что могу сделать лишь я один. Но что это? Что? Вот этого я не знаю».

В перерыве между двумя проповедями Винсент рисует, чтобы поведать миру о горе людей, до которых никому нет ни малейшего дела, которых никто не хочет жалеть.

* * *

Весть с быстротой молнии распространилась в Ваме: «брюссельские господа» уволили Винсента с должности проповедника, ссылаясь на то, что ему будто бы недостает красноречия. Скоро он уедет из Боринажа. Люди плакали. «Никогда больше не будет у нас такого друга», – говорили они.

«Пастор Винсент» сложил свои пожитки. Они все уместились в платке, связанном узлом. Свои рисунки он спрятал в папку. Сегодня же ночью он пойдет в Брюссель, пойдет пешком, потому что у него нет денег на проезд, босиком, потому что он раздал все, что имел. Он бледен, изнурен, подавлен, бесконечно печален. Полгода голодания, самоотверженных забот о людях заострили его черты.

Настал вечер. Винсент пошел проститься с пастором Бонтом. Постучавшись в дверь, он переступил порог пасторского дома. Понуриив голову, остановился... В ответ на слова пастора он вяло сказал: «Никто меня не понимает. Меня объявили безумцем, потому что я хочу поступать, как положено истинному христианину. Меня прогнали, как приبلудного пса, обвинив в том, что я учиняю скандалы, – и все только потому, что я стараюсь облегчить участь несчастных. Я не знаю, что буду делать, – вздохнул Винсент. – Возможно, вы правы и я – лишний на этой земле, никому не нужный бездельник».

Пастор Бонт промолчал. Он глядел на стоявшего перед ним оборванного, несчастного человека с лицом, поросшим рыжей щетиной, с горящими глазами. Может быть, тогда пастор Бонт впервые увидел Винсента Ван Гога.

Винсент не стал мешкать. Впереди – долгий путь. Еще столько нужно пройти! С картонной папкой под мышкой, с узелком на плече, он, распрощавшись с пастором, шагнул в ночь и пошел по дороге, ведущей в Брюссель. Дети кричали ему вслед: «Тронутый! Тронутый!» Подобные крики всегда несутся вслед побежденным.

Пастор Бонт сердито приказал детям замолчать. Возвратившись к себе в дом, он опустился на стул и погрузился в глубокую задумчивость. О чем он думал? Может быть, вспомнил строки Евангелия? Не эти ли слова Христа: «Вот, Я посылаю вас, как овец среди волков». Кто этот человек, изгнанный церковью? Кто он? Но есть вершины, недоступные жалкому пастору бедной шахтерской деревушки...

Вдруг пастор Бонт нарушил молчание. «Мы приняли его за безумца, – тихо сказал он жене голосом, в котором слышалась легкая дрожь. – Мы приняли его за безумца, а он, возможно, святой...»

V. «В моей душе есть нечто, но что?»

*Вот я, я не мог поступить иначе.
Мартин Лютер. Из речи на Вормском соборе*

Член Евангелического общества досточтимый пастор Питерсен был немало поражен появлением Винсента. Он с изумлением разглядывал этого парня, утомленного долгим пешим путем, представшего перед ним в пыльных лохмотьях, с окровавленными ногами.

Весь во власти одной-единственной думы, беспрерывно бормоча что-то про себя, Винсент шел вперед крупным шагом, ни разу не позволив себе передохнуть, и наконец добрался до дома пастора Питерсена. Досточтимый был удивлен и растроган. Он внимательно выслушал Винсента, внимательно разглядывал рисунки, которые тот достал из своей папки. В часы досуга пастор писал акварелью. Может быть, и в самом деле его заинтересовали рисунки Винсента? Может быть, он увидел в них зачатки таланта, одаренность художника? А может быть, он решил любой ценой подбодрить, успокоить неотесанного, вспыльчивого и нетерпеливого парня, в голосе и взгляде которого сквозило отчаяние, глубокая тоска? Как бы то ни было, он посоветовал ему рисовать как можно больше и купил у него два рисунка. Может быть, это лишь ловко замаскированная милостыня? Так или иначе, пастор Питерсен всячески старался умиротворить страждущую душу Винсента. Он оставил его на несколько дней у себя, согрел приветливостью и лаской и, убедившись, что Винсент, несмотря ни на что, хочет продолжать деятельность проповедника в Бороинаже, дал ему рекомендацию к священнику деревушки Кэм.

Винсент собрался в обратный путь. Несколько дней, проведенных в доме пастора Питерсена, были для него счастливой передышкой. Теперь он пойдет назад, в Бороинаж, в деревушку Кэм, где, как оговорено, он будет помощником пастора. Но что-то надломилось в его душе. Приветливость и радушие Питерсена не могут заставить Винсента позабыть о причиненной ему обиде. Господь и тот проклял его. Он отверг его, как некогда Урсула, как отвергли его общество и обыватели. Сначала растоптали его любовь, затем – еще страшней – распяли его веру. Одержимый жаждой мученичества, он взобрался на голые, неприютные вершины, где свирепствуют бури и грозы, где человек – одинокий и незащищенный – полностью предоставлен самому себе. Там его поразила молния. Душу его обожгла встреча с Тем, кто в этих заоблачных высотах уже не имеет имени, – с Тем, кто являет собою гигантское и таинственное Ничто.

Винсент побрел по дорогам, снедаемый тревогой и жаром, растерянный, угнетенный, весь во власти недуга, которому также нет имени. Он брел, засунув руки в карманы и тяжело дыша, без устали разговаривая сам с собой, не в силах долго оставаться на одном месте. Он думал, что по-прежнему хочет проповедовать, но проповеди теперь не получались. Церкви вдруг показались ему трагически опустелыми каменными могилами. Неодолимая пропасть

навсегда отделила Христа от тех, кто называет себя его слугами. Бог – далеко, невыносимо далеко...

В пути он вдруг изменил направление. Он устремился в Эттен, словно в родительском доме мог найти ответ на вопросы, которые теснились и бурлили в его душе, обрести путь к спасению. Он понимал, что в Эттене его встретят упреками – что ж, ничего не поделаешь!

И в самом деле, в упреках не было недостатка. Зато, увы, в остальном, в главном, поездка оказалась бесплодной. Правда, пастор ласково встретил Винсента, но он не стал от него скрывать, что такие безрассудные метания больше продолжаться не могут. Винсенту уже двадцать шесть лет – пора избрать себе ремесло и не отступать от избранного. Пусть он станет гравером, счетоводом, краснодеревщиком – кем угодно, только бы был конец метаниям! Винсент понурил голову. «Лекарство хуже недуга», – пробормотал он. Поездка оказалась напрасной. «Разве я сам не хочу жить лучше? – недовольно возражал он. – Разве сам я не стремлюсь к этому, не испытываю в этом потребности?» Но что изменится от того, что он вдруг сделается счетоводом или гравером? Эти несколько дней, проведенные с отцом, которому он некогда с таким рвением силился подражать, стали для Винсента источником новых страданий. К тому же дело не обошлось без трений. «Можно ли упрекать больного за то, что он хочет узнать, насколько сведущ его лекарь, не желая, чтобы его лечили неправильно или вверили шарлатану?» – спрашивает Винсент. Он надеялся обрести помощь в родительском доме, а столкнулся с полным непониманием. С новым бременем в сердце он вернулся в Боринаж. Неужели никто не протянет ему руку помощи? Он всеми отринут – Богом и церковью, людьми и даже родными. Все осудили его. Даже брат Тео.

Тео, все тот же образцовый служащий фирмы «Гупиль», в октябре должен перевестись в Париж, в главное отделение фирмы. Он приезжал повидаться с Винсентом в Боринаж, но на сей раз братья не нашли общего языка. Они прогуливались в окрестностях заброшенной шахты под названием «Колдунья», и Тео, вторя доводам отца, настаивал, чтобы Винсент возвратился в Эттен и выбрал себе там ремесло. (Он бросил старшему брату довольно жестокий упрек, будто тот стремится быть «иждивенцем».) Тео с грустью вспоминал времена, когда они вот так же вдвоем гуляли в окрестностях старого канала в Рейсвейке. «Тогда мы судили одинаково об очень многих вещах, но с тех пор ты переменялся, ты уже не тот», – говорил Тео. Подобно Питерсену, он советовал Винсенту заняться рисованием. Однако в Винсенте все еще был жив недавний проповедник, и он лишь раздраженно пожал плечами. И вот он один, на этот раз совершенно один, и нет выхода из жуткой пустыни, в которую обратилась его жизнь. Тщетно ищет он оазис, где можно было бы освежиться прохладной водой. Кругом сплошной мрак, и нет никакой надежды на близкий рассвет, никакой! Он безвозвратно отрезан от мира, он один, он даже перестал писать брату, всегдашнему своему наперснику. В угольном краю, где хмурое зимнее небо навевает тоску, Винсент кружит по равнине, отбиваясь от тяжких дум, мечется взад и вперед, как гонимый зверь. У него нет жилья, он ночует где придется. Единственное его имущество – это папка с рисунками, которую он пополняет эскизами. Изредка ему удастся в обмен на какой-нибудь рисунок получить ломоть хлеба или несколько картофелин. Он живет подаванием, и случается, целыми днями ничего не ест. Голодный, озябший, он бродит по угольному краю, рисует, читает, упорно изучает людей, вещи и книги в поисках истины, способной дать ему воскрешение и свободу, но упорно отворачивающей от него лицо.

Пусть он погряз в нищете – он приемлет и это. Он знает: никто не в силах его спасти. Он сам должен сразиться с «роком в своей душе» и побороть этот рок, который заводит его из одного тупика в другой, с чудовищным коварством скрывая от него свою тайну и свою власть. Сам он отнюдь не склонен считать себя «человеком опасным и ни к чему не пригодным». Он говорит себе, что похож на птицу, запертую в клетке, которая весной бьется о прутья решетки, чувствуя, что должна что-то сделать, но не в силах осознать, что именно. «Ведь кругом – клетка, и птица сходит с ума от боли». Так и Винсент ощущает в своей душе дыха-

ние истины. Что-то бьется в его груди. Но только что это? Что он за человек? «В моей душе есть нечто, но что?» Этот стон то и дело оглашает поля Боринажа, опустошаемые ледяными ветрами.

Зима в этом году выдалась на редкость свирепая. Кругом снег и лед. «Чего я ищу?» – вопрошает самого себя странник. Он этого не знает и все же неловко, наивно пытается ответить. «Я хотел бы стать много лучше», – говорит он, не в силах измерить всю сложность своей натуры, охватить во всей совокупности, в их головокружительном взлете сокровенные, неизвестные ему самому порывы, которые он тщетно пытается удовлетворить, эту тоску по Совершенству, мистическую жажду растворения в нем, несоразмерную с обычными людскими чаяниями. Он просто чувствует, как в нем бушуют силы, избравшие его слепым орудием. Они управляют его жизнью, но ему не дано распознать их, и он бредет наугад, в тумане, потерянный, тщетно ищущий своего пути. Сравнивая себя с птицей в клетке, он с тоской в сердце спрашивает, что же мешает ему жить, как все люди. С редким простодушием он воображает, будто он такой же, как все прочие люди, будто у него те же потребности и желания, что и у них. Он не видит того, чем непоправимо отличен от них, и, сколько бы ни обдумывал он свое прошлое, ему не под силу осознать причину своих беспрестанных неудач. Стремление занять определенное положение в обществе, обычные житейские заботы – все это бесконечно чуждо ему! Этот голодный бродяга, бредущий по колено в снегу, за которым с жалостью наблюдают люди, в поисках ответа на тревожащие его вопросы обращался к самым вершинам духа. Только так он может дышать и жить. И все же временами он близок к пониманию сущности разлада. «Одна из причин того, почему я сейчас без места, почему я годами был без места, заключается просто-напросто в том, что у меня другие взгляды, чем у этих господ, которые раздают все места тем, кто разделяет их образ мыслей. Дело тут не просто в моей одежде, как мне сказали с лицемерным укором, вопрос тут гораздо серьезней». Винсент с негодованием вспоминает свои недавние споры с официальными церковными инстанциями. За ним нет вины, в этом он убежден. Но «с проповедниками Евангелия дело обстоит точно так же, как с художниками. И здесь есть своя старая академическая школа, подчас отвратительно деспотичная, способная хоть кого ввергнуть в отчаяние». Их Бог? Это «чучело»! Но довольно об этом. Будь что будет!

Винсент вечно в пути, изредка появляясь то у того, то у другого из своих знакомых по Боринажу. Всякий раз он в пути из Турне или Брюсселя, а не то из какой-нибудь деревушки Восточной Фландрии. Он молча принимает угощение, которое ему предлагают. Когда же не угощают ничем, он подбирает на помойке корку хлеба или мороженный картофель. За едой он читает Шекспира, Гюго, Диккенса или «Хижину дяди Тома». Иногда он рисует, положив на колени папку. В одном из писем, посланных брату, Винсент писал: «Я не знаю лучшего определения “искусства”, чем вот это: “Искусство – это человек плюс “природа”, т. е. натура, реальность, истина, но со смыслом, со значением и характером, которые в ней выделяет и выражает “выхватывает”, открывает, высвобождает и проясняет художник. Картина Мауве, Мариса или Израэльса говорит больше и яснее самой природы». Природа – это хаос, щедрая пестрота. Она таит в себе ответы на все вопросы, но эти ответы настолько перегружены оговорками и так изощренно запутаны, что никто не может их разобрать. Труд художника состоит в том, чтобы выделить в этом хаосе первооснову, на которой он произрастает: стараться отыскать смысл мира, сорвать с этого мира покров мнимой абсурдности. Искусство – это погоня за бесконечным, тайна, магия. Служение искусству, так же как служение религии, относится к области метафизики. Так рассуждал Винсент Ван Гог. Для него искусство могло быть лишь одним из путей, средством постижения непостижимого, способом существования, коль скоро оно не может быть сведено к поддержанию физической жизни. Жить – это значит приблизиться к Богу и с отчаянной любовью, которая и есть самая отчаянная гордыня, вырвать у Него Его тайны, похитить у Него власть, иными словами – знание.

Так рассуждал Винсент Ван Гог. Сказать по правде, Винсент не рассуждал. И если он вел сам с собой бесконечные споры, то они всякий раз отливались в форму эмоций. Он сознавал лишь, что страсть неуклонно толкает его вперед. К рисунку его влекла властная потребность, столь же неодолимая, как та, что заставляла его любить людей, проповедовать Евангелие, терпеть всяческие лишения материального и социального толка. Он затрясся бы от негодования, скажи ему кто-нибудь, что искусство может быть таким же ремеслом, как все прочее. Цель всякого ремесла одна, самая что ни на есть жалкая – заработать себе на хлеб. Об этом ли речь! Рисуя, Винсент пытался познать сущность своей боли, боли всего человечества, выявить ее облик, передать немоту ледяной ночи, в которой билась его встревоженная душа, жаждущая искупления. В рисунках, которые Винсент торопливо набрасывал неподалеку от шахт, рядом с горами шлака, присутствует эта боль. Оглядывая горизонт, исчерченный силуэтами подъемников и надшахтных строений, похожих на склоненные в горе человеческие фигуры, он беспрестанно повторял один и тот же тревожный вопрос: «Доколе же, Господи? Неужели надолго, навсегда, навеки?»

Всех, кто сталкивается с Винсентом, поражает его печаль, «пугающая грусть». Сколько раз, рассказывает дочь шахтера Шарля Декрюка из Кэма, «я просыпалась ночью, слыша, как он рыдает и стонет на чердаке, который он занимал». У Винсента не было даже рубашки, чтобы укрыться от холода, особенно свирепого в ту проклятую зиму, но он почти не замечал мороза. Мороз опалил кожу, как огонь. А Винсент – весь огонь. Огонь любви и веры.

«Я по-прежнему думаю, что лучшее средство познать Бога – это много любить. Люби друга, какого-нибудь человека, ту или иную вещь, все равно – ты будешь на верном пути и из этой любви вынесешь знание, – говорил он себе. – Но надо любить с истинной и глубокой внутренней преданностью, решимостью и умом, неизменно пытаюсь лучше, глубже, полнее узнать предмет любви. Таков путь к Богу – к несокрушимой вере». Но этого Бога и веру Винсент больше не отождествляет с Богом и верой, исповедуемыми в церквях; его идеал с каждым днем все больше удаляется от идеала церкви. Евангелическое общество отстранило Винсента от должности проповедника, но, так или иначе, он неизбежно должен был вырваться из рамок, приглушающих, калечащих, опошляющих сокровенные чаяния человека, его стремление познать неведомую тайну мира. Винсент не мог оставаться в этой клетке. Пусть угас его религиозный пыл, зато вера его нетленна – пламя ее и любовь, которую ничто не ослабит. Это, во всяком случае, Винсент сознает: «В моем неверии я остался верующим и, пережившись, я все же остался прежним». Вера его нетленна – в том и состоит его мука, что вера его не находит себе приложения. «Для чего я могу пригодиться, неужели я не мог бы чем-нибудь быть полезен?» – спрашивает он себя и, смущенный, растерянный, продолжает свой монолог: «Иной несет в душе своей яркое пламя, но никто не заходит погреться около него, прохожие замечают лишь маленький дымок, выбивающийся из трубы, и идут своей дорогой. Так что же теперь делать: поддерживать этот огонь изнутри, хранить в себе соль мироздания, терпеливо и вместе с тем с нетерпением ждать того часа, когда кто-нибудь пожелает прийти и сядет у твоего огня и, – кто знает? – быть может, останется с тобой?»

* * *

Как-то раз «почти невольно, – впоследствии признавался он, – я не мог бы точно сказать почему», Винсент подумал: «Я должен увидеть Курьер». Винсент убедил себя, что в Курьере, маленьком городке департамента Па-де-Кале, он сможет найти какую-нибудь работу. Все же он отправился туда не за этим. «Вдали от родины, от тех или иных мест, – признается он, – охватывает тоска по этим местам, потому что эти края – родина картин». Дело в том, что в Курьере жил Жюль Бретон, банальный пейзажист, член Французской академии. Он писал сцены из крестьянского быта, и они вызвали восхищение Винсента, введенного в заблужде-

ние сюжетами этих картин. Словом, Винсент собрался в Курьер. Сначала он ехал поездом, но в кармане у него осталось всего десять франков, и вскоре он вынужден был продолжить свой путь пешком. Он шел целую неделю, «с трудом передвигая ноги». Наконец он добрался до Курьера и вскоре остановился у мастерской господина Жюля Бретона.

Дальше Винсент не пошел. Он даже не постучался в дверь этого «совершенно нового, сложенного из кирпича правильного дома», неприятно пораженный его «негостеприимным, холодным и неприветливым обликом». Он сразу понял, что не найдет здесь того, что искал. «Следов художника нигде не видно». Разочарованный, побрел он по городку, вошел в кафе с претенциозным названием «Кафе изящных искусств», тоже сложенное из нового кирпича, «неприветливое, леденящее душу и унылое». На стенах были фрески, изображавшие эпизоды из жизни Дон Кихота. «Довольно слабое утешение, – брюзжал Винсент, – к тому же фрески весьма посредственны». И все же Винсент сделал в Курьере несколько открытий. В старой церкви он увидел копию с картины Тициана, и она вопреки скудному освещению поразила его «глубиной тона». С особенным вниманием и изумлением он изучал французскую природу, «скирды, коричневые пашни или рухляк почти кофейного цвета, с белесоватыми пятнами там, где проступает мергель, что для нас, привыкших к черной почве, более или менее необычно». Эта светлая земля, над которой сверкает небо «прозрачное, светлое, совсем не такое, как задымленное и туманное небо Бориная», для него словно лампада во мраке. Он достиг последнего предела нищеты и отчаяния, ничего больше не мог делать, даже перестал рисовать. И вот отчаяние, обрекавшее его на болезненную бездеятельность, стало отступать перед этим светом, несущим ему благодать, тепло и надежду.

Винсент пустился в обратный путь. Деньги у него кончились, не раз он выменивал на кусок хлеба рисунки, которые взял с собой, ночевал в поле, устроившись в стоге сена или на куче хвороста. Его донимали дождь, ветер, холод. Однажды Винсент заночевал в брошенной карете, «довольно скверном приюте», а наутро, когда выбрался из нее, увидел, что она «вся белая от инея».

И все же вид светлого французского неба возродил надежду в сердце жалкого странника с израненными ногами, неуклонно бредущего вперед. К нему вновь вернулась энергия. Обдумав дорогой свою жизнь, ее события и их взаимосвязь, он сказал себе: «Я еще поднимусь». Проповедник в нем умер навсегда. Умерла вся его прежняя жизнь. Он мечтал о безыскусственном счастье с волшебницей Урсулой, но ее смех разрушил эту мечту. Утратив счастье, которое дано изведать многим людям, он хотел по крайней мере быть с ними, греясь в их человеческом тепле. И снова его отвергли. Отныне он в тупике. Ему нечего больше терять, кроме собственной жизни. Много раз Тео советовал ему заняться живописью. Он неизменно отвечал: «Нет», возможно, напуганный той нечеловеческой силой, которую он всегда ощущал в себе и которая вырвалась на свободу во время его миссии в Бориная. Стать художником – это значит вступить в единоличный спор, в котором неоткуда ждать помощи, с чудовищными космическими силами, навсегда стать рабом жуткой тайны неведомого, отринуть все то, чем ограждают себя от бед осторожные люди. Поняв, что ему остался один-единственный путь, Винсент неожиданно заявил: «Я снова возьмусь за карандаш, который бросил в дни тяжкого отчаяния, и снова начну рисовать». Он решил смириться со своей участью. Конечно, он принял ее с радостью, всегдашней спутницей запоздалых свершений, но также и с известной опаской, со смутной тревогой. Да, несомненно, Винсент страшился, всегда страшился той иступленной страсти, которая вселялась в его руку, стоило ей взяться за карандаш. Хотя он почти ничего не знал о технике пластического языка, Винсент мог бы, подобно многим другим ремесленникам от искусства, хвастаться, тешить себя надеждой и далеко идущими притязаниями. Он мог бы самодовольно мечтать о своих будущих шедеврах, разглагольствовать о вдохновении и таланте. Но он отвергает все это, отворачивается от суеты. Вдохновенный художник? Нет, старательный труженик, работающий с добросовестностью мастерового, – вот успокоительный

идеал, к которому он стремится. Но он хитрит сам с собой и, рисуя, точнее, желая нарисовать подобную картину своего будущего, силится умерить губительный пыл, который ощущает в своей душе. Он тщательно избегает непоправимых слов, боясь прогневить неведомые силы, которым отныне безвозвратно вверяет свою судьбу. Ни капли цинизма, ни вызова. Винсент тихо произносит свое да, как некий вечный обет.

Этим да Винсент сбросил с себя нестерпимый гнет, под которым жил в Боринаже долгой студеной зимой 1879–1880 года. Радость, порожденная вновь обретенной свободой, в конечном счете помогла ему одолеть все сомнения. Отныне, как сказал Винсент, все будет по-другому. Его превращение почти завершено. Он возрождается к жизни, выплывает из мрака. Во время путешествия в Курьер он с пристальным интересом осматривал поселки ткачей. «Я глубоко симпатизирую им и почту себя счастливым, если когда-нибудь мне удастся их нарисовать так, чтобы эти неизвестные или малоизвестные типы стали знакомы всем». Этим ткачам, «с их задумчивым, почти сомнамбулическим видом», пришедшим в его жизнь на смену шахтерам, «людям из бездны», суждено также сыграть в его судьбе определенную символическую роль. Они как бы знаменуют определенную веху на пути его возвращения к свету.

Хотя ничто еще не переменялось в жизни Винсента, бывший проповедник Евангелия вдруг почувствовал себя новым человеком. Ему снова захотелось выйти в мир, восстановить связь с людьми, с родными. Весной он отправился в Эттен. На беду, его отношения с родителями теперь не отличались сердечностью. В пасторском доме совсем не понимали причин его странных поступков, считали его «невыносимым, подозрительным человеком». Винсент возмутился; с безжалостной проницательностью, порожденной его внутренними устремлениями, он обвинил своих родных в том, что «они не совсем свободны от предрассудков и прочих свойств, столь же мало почтенных и достойных». И тут для Винсента тоже завершился известный этап. Отныне отец больше не будет ему примером. Подобно тому как произошел его разрыв с традиционной верой, теперь рухнули последние – и без того хрупкие – узы, еще связывавшие его с буржуазной средой его детства. Винсент всеми отвергнут, но и он сам, всякий раз с силой утверждая свое «я» и тем навлекая на себя очередной удар, тоже отверг все и вся, открыто провозгласив свое истинное призвание. Вся его прежняя жизнь была лишь долгим, тяжким блужданием в лабиринте ложных ценностей, слепым, мучительным шествием навстречу неведомому свету, навстречу полноценной, полновесной реальности. Позади – одни лишь мертвые оболочки, обветшалые маски, которыми из страха прикрываются люди, обманывая самих себя и друг друга. Испытания, выпавшие на его долю, были необходимы, ибо позволили ему очиститься. Так он измерил убожество и фальшь обеих традиций своей семьи, избиравшей либо стезю торговли произведениями искусства, либо духовное поприще. Он испытал и то и другое. Последний толчок возвратил его в лоно искусства, но со сколь иными намерениями! Искусство и религия всегда были для его родных только ремеслом. Он же не ищет ремесла. Хотя, конечно, и ему надо жить, чем-то кормиться, покупать одежду. Как сочетать жестокую материальную необходимость с властными чаяниями души? Наверно, Винсент отлично сознавал, что выбор, созревший в нем, весьма уязвим с точки зрения общества. И потому, когда невозвратно рушились узы, связывающие его с семьей, он вопреки обыкновению не давал волю ярости, а, напротив, всячески старался не замечать очевидного факта, надеясь, что со временем родные его поймут. «Я еще не совсем перестал надеяться, что раньше или позже, медленно, но верно восстановлю добрые отношения с кем-либо из моих близких». Однако, когда отец предложил ему поселиться в окрестностях Эттена, Винсент ответил решительным отказом. Он хорошо знал, что истину здесь уже не найдешь. Он возвратился в Боринаж.

Все же Винсент испытал в Эттене еще и нечто другое – не только чувство отчуждения от родных. Примирительные настроения, возможно, не завладели бы им с такой силой, если бы не неожиданное важное событие: ему вручили пятьдесят франков от брата Тео. Эти деньги

он принял, «конечно, нехотя, конечно, с довольно печальным чувством», говоря его словами, но все же он их взял. Взял, оправдываясь в собственных глазах тем, что рано или поздно сам сможет оказать брату подобную услугу. Однако невольно он высказал также истинную причину, побудившую его принять эти деньги: «Я в тупике, в своего рода ловушке, какой у меня выход?» Небольшая сумма, которую послал ему Тео, неожиданно освободила его от материальных забот, будущее уже не казалось ему таким мрачным. Девять месяцев он не переписывался с Тео, и тот ничего не знал о его решении, но он поступил так, словно хотел заверить Винсента в своей поддержке. Своими пятьюдесятью франками он как бы поощрил Винсента смело шагнуть навстречу новой судьбе. Этим сугубо материальным и в то же время символическим даром ознаменован конец периода сомнений и мук, когда рождалось призвание Винсента.

Возвратившись в Боринаж, Винсент снова поселился в Кэме, в доме шахтера Декрюка, и начал без устали рисовать.

* * *

В Эттене и на обратном пути Винсент, вероятно, долго размышлял над поступком Тео, над смыслом его подарка. В душе ему было неловко перед братом, и, желая отблагодарить Тео, он возобновил с ним переписку, отправив ему письмо, в котором оправдывал свое поведение и поступки – длинное послание строк в пятьсот, написанное по-французски от первого до последнего слова. Казалось, язык страны ясного неба, сулящего надежду и обещающего светлое будущее, лучше всех других подходил для письма, в котором выражены сотни разных чувств, где частью высказаны, частью недоговорены сомнения и надежды, смутные опасения и крепнущая уверенность – словом, для самой патетической исповеди, с которой человек когда-либо обращался к другому человеку.

В этом письме, отправленном в июле 1880 года, Винсент прежде всего объяснял, почему он так долго не писал младшему брату и не поддерживал никаких отношений с близкими. Он признавался: Тео «стал для него чужим». Но пусть тот правильно его поймет: он находится сейчас в состоянии внутреннего перерождения, а «это не совершается на глазах у всех, не такое уж это веселое зрелище, вот почему... лучше скрыться». С его стороны тем более разумно держаться вдалеке, что его считают бездельником. «Значит, самый лучший выход – вести себя так, словно меня нет».

Пусть так, но справедливо ли считать его ни на что не годным? Он хорошо знает себя, не закрывает глаза на собственные недостатки. Верно, что он «человек со страстями, способный и склонный совершать более или менее безрассудные поступки», в которых он подчас сам раскаивается... «Но речь идет о том, чтобы любыми средствами попытаться извлечь пользу из этих самых страстей». О, он знает, до сих пор ему это не удавалось, он терпел один провал за другим. Однако в этих своих неудачах повинен не он один. Между тем из-за них его осыпают укорами, говорят, что он ничтожество и бездельник. А с этим он примириться не может. Дело в том, что «бывают разные бездельники... Бывают такие, что становятся бездельниками в силу лени или слабости характера, низости натуры... Но есть и другие бездельники – бездельники поневоле, которые чахнут от неумной жажды действия, но ничего не делают вследствие невозможности что-либо предпринять, потому что они как бы заключены в тюрьму». Бездельники этого рода «иногда сами не знают, на что они способны». Именно так обстоит дело с ним, с Винсентом. «Я знаю, что мог бы быть совсем другим человеком... Вы говорите теперь: “Начиная с такого-то времени ты опустился, погас, ты перестал трудиться”. Верно ли это? Верно, я жил, как мог... как придется; верно, что я утратил доверие многих; верно, что мои денежные дела в плачевном состоянии; верно, что мое будущее представляется довольно мрачным; верно, что я мог бы добиться большего; верно, что я потерял много времени, еле-

еле зарабатывая себе на хлеб; верно, что и с образованием моим дело обстоит отчаянно плохо и что мне недостает куда больше того, что я имею. Но значит ли это, что я опустился, что я бездельничаю?» Как можно сделать подобный вывод? «Тот, кого долго носило по бурному морю, когда-нибудь прибьется к берегу». Может быть, и ему наконец улыбнется счастье. Он хочет в это верить, хотя, умудренный опытом, не слишком обольщается. Но, в конце концов, нет ничего невозможного в том, что дело обернется именно так. И тогда люди скажут: «Значит, было в нем все же нечто такое». А раз так, значит, надо «идти дальше». Это для него единственный выход. Он должен идти дальше своим путем, чтобы это «нечто», наконец, вызрело в его душе, обрело наконец свой истинный облик.

Пусть никто не обманывается на этот счет – его устремления остались в точности такими же, как и раньше. За видимостью противоречий существует общность, преемственность. Никто этого не понял. Даже его брат – увы – и тот обманулся. Так, когда Винсент проповедовал в Боринаже, Тео зря полагал, будто брат «охладел к Рембрандту, Милле, Делакруа или к кому бы то ни было». Абсолютное заблуждение! Пусть младший брат поймет, что в душе он нисколько не изменился. Его упрекали в том, что у него будто бы «нелепые представления о религии и инфантильные душевные сомнения». Если это так, он первым будет рад от них избавиться. Он исправится, он уже исправляется. Путь к Богу только один – любовь; в этом он совершенно убежден, но формы такой любви многообразны, и в конечном счете не важно, какую из них избрать. «Постарайтесь понять конечный смысл творений великих художников, истинных мастеров, и в них будет Слово Божье. Один вложил свою любовь в книгу, другой – в картину». Бог повсюду, и все взаимосвязано... Нет, он не переменялся. Теперь, после неудачной попытки стать миссионером, он готов начать все сначала.

Он пережил долгий период уныния, который теперь завершен. «Вместо того чтобы предаться отчаянию, я избрал путь деятельной печали, насколько я способен быть деятельным, – иными словами, унылой, бездейственной, отрешенной грусти я предпочел печаль, полную надежд, стремлений и исканий». Винсент вновь вернулся к своим занятиям, снова раскрыл Эсхила, Шекспира. «Господи, как прекрасен Шекспир! – восклицает бывший проповедник. – Кто еще так загадочен, как он? Его язык и манера письма стоят иной кисти, которой водит взволнованная рука. Однако надо учиться читать, как надо учиться видеть и учиться жить».

Так пусть же близкие не ставят на нем крест, пусть не считают его «бездельником самого худшего толка», он просто умоляет об этом брата. Он снова благодарит его за «доброту» и сообщает ему свой адрес в Кэме. «Знай, если напишешь мне, этим принесешь мне радость», – говорит он ему.

* * *

Письмо это – оправдательная речь, но в то же время мольба о помощи, которую потрясенный Тео не мог не услышать. И еще это последний внутренний смотр. Этим письмом в решающий момент своей жизни Ван Гог подвел своеобразный итог и, отбросив прошлое, в последний раз оглянулся назад. Отныне оставлены все колебания, рассеяны все сомнения. Винсент рисует. Он рисует, как некогда проповедовал, с тем же неутомимым рвением, с тем же неистощимым восторгом. Он часто навдывается в шахты, чтобы зарисовать там откатчиков и откатчиц, подобно тому, как в свое время с Евангелием в руках выходил навстречу окончившим работу углекопам. Он рисует рабочих в мужской одежде, с черным платком на голове; рисует промышленный пейзаж угольных дворов; углекопов, направляющихся к шахтам или же бредущих оттуда, согнувшихся под тяжестью мешков... Боринаж представляется Винсенту не менее живописным, чем Аравия или Венеция. Его неутомимая рука день за днем, час за часом дает ответы на вопросы, которые издавна терзали его. Фигуры людей, поначалу застывшие, скован-

ные, точно выполненные первобытным художником, постепенно оживают, оставаясь загадочными, словно персонажи Джотто.

Винсент не удовлетворялся зарисовками с натуры. Он начал копировать «Часы дня» Милле, художника, взволновавшего его своим библейским видением, вкусом к земным вещам, истинно евангельским гуманизмом. Он просил брата выслать ему другую серию того же художника – «Полевые работы». У Терстеха, своего бывшего шефа в гаагской художественной галерее, он выпросил «Рисунки углем» Барга. В своей маленькой комнатухе в Кэме, которую он делил с хозяйскими детьми, Винсент рисовал, переделывал рисунки, учился мастерству. Так же как три года назад в Амстердаме, он снова оказался в положении ученика. Он должен учиться новому делу, приобщиться к новому языку. Но каким доселе не изведанным восторгом воодушевлен этот ученик! В свое время он пал духом при виде груды латинских и греческих книг. Сегодня трудности не пугают, не угнетают его, а лишь еще больше возбуждают рвение. Пусть нет им числа – он преодолевает их спокойно, настойчиво и упорно. Хлынул наружу источник, бурливший в его душе, – и долго сдерживаемая струя забила неудержимо, с чудесной, неодолимой силой. «Я набросал рисунок, изображающий углекопов, – пишет Винсент Тео, – которые поутру бредут по заснеженной тропинке на шахту вдоль изгороди из колючего кустарника, бредут как тени, смутно различимые в полутьме. Позади на фоне неба крупные надшахтные строения и терриль. Посылаю тебе набросок, чтобы ты представил себе эту картину... Нравится ли тебе сама идея рисунка?» Теперь Винсент шлет Тео одно письмо за другим, то по-голландски, то по-французски; каждое содержит подробный отчет о его работе. Для сомнений уже не осталось места. 7 сентября Винсент сообщил Тео, что почти две недели работал над упражнениями Барга «с раннего утра и до самого вечера, и так каждый день, мне казалось, что я набираю силу... Не с меньшим, а, возможно, с еще большим усердием я теперь копирую «Полевые работы»... Что же касается «Сеятеля» («Сеятеля» Милле), – добавляет он, – то я рисовал его уже не менее пяти раз, дважды малым форматом и трижды более крупным, и все же я снова буду его рисовать, настолько эта фигура меня интересует...»

Углекопы. Ткачи. Сеятель... «Я иступленно работаю», – пишет Винсент. Отныне перед ним – огромное невозделанное поле. Сеятель!.. Разве сам он не сеятель, фигура, символизирующая человека-творца, сеятель, который идет вперед размашистым шагом, наступая на комья земли, и широким жестом бросает в ее разверстое чрево зерно – залог летнего урожая? Он работает по Баргу, копирует Милле, изучает труды по анатомии и перспективе. «Путь к знанию тернист, и сплошь и рядом эти книги вызывают острое раздражение, – вздыхает он, изнывая от нетерпения. – ...Но я надеюсь, что тернии в свое время обернутся цветами, а борьба, которую я веду, при всей ее кажущейся бесплодности подобна родовым мукам. Сначала – боль, после – радость». Весь дрожа от лихорадочного нетерпения, Винсент мечтает скорее миновать переходный этап. «Я не мог удержаться, – признается он, – и снова выполнил в довольно крупном масштабе рисунок, который изображает углекопов, бредущих на шахту». Но он счастлив. «Я не в силах выразить, как я счастлив, что снова взялся за рисование», – говорит он.

Солнце взошло над голой пустынной землей, несущей в своем чреве июльскую жатву.

Часть вторая «Смерть для жизни» (1880–1885)

І. Рука на огне

*Коль постигнуть не далось
Эту «смерть для жизни»,
Ты всего лишь смутный гость
В темной сей отчизне.*

Иоганн Вольфганг Гёте. «Западно-Восточный диван»

В Кэме Винсент работал с необыкновенным рвением, ни на минуту не закрывая папки с рисунками. «Погоди, – писал он брату, – может быть, скоро ты убедишься, что и я тоже труженик».

Жизнь, которую он вел в последние месяцы, истощила его физически и духовно. Однако запас его жизненных сил был огромен, и теперь, когда ему улыбнулась надежда, он быстро вновь обрел здоровье и силы. Вместе с душевным спокойствием к нему вернулась энергия, и, по его словам, он «с каждым днем» все больше ее ощущал. Да, он нашел сферу свободы в рисовании. Один на один с бессловесным листом бумаги Винсент мог выявить себя полностью. Теперь ему надо было бороться лишь с собственной неумелостью и неопытностью, но «where is a will, there is a way», «где есть желание, там найдется и выход». Скоро родные перестанут стыдиться его. Он искупит свое непутевое прошлое. Притязания его весьма скромные – в большей мере плод раскаяния, порожденного длинной чередой неудач, нежели сжигающей его страсти. Овладеть техникой искусства, как можно скорее научиться делать «приемлемые, годные для продажи» рисунки – вот цель, которую Винсент открыто провозглашает и ставит перед собой, «потому что к этому принуждает меня необходимость», добавляет он с некоторым сожалением: не может же он всегда жить на средства родных.

В одном из своих писем, в сентябре, брат «между прочим» предложил ему приехать в Париж. Винсент отклонил приглашение. Мотивируя свой отказ, он ссылаясь на денежные затруднения, но за всеми доводами угадывалась иная и, вероятно, главная причина: какую пользу он извлечет из пребывания в Париже, когда ему еще только предстоит освоить азы ремесла?

Вместе с тем он склонялся к мысли, что и в Кэме ему сейчас нечего делать. Конечно, на его взгляд, нигде не сыщешь более интересных пейзажей и человеческих типов, чем в Боринаже, но, прежде чем пытаться их воспроизводить, он должен пройти систематический учебный курс. Ему необходимо видеть картины, общаться с собратьями по профессии. Винсент мечтал познакомиться с художником поопытнее его, чтобы тот помог ему советом. Но в Кэме ничего этого нет – ни картин, ни собратьев по ремеслу, ни художника, о котором он мечтает. Остаться здесь – значит топтаться на месте. Винсент сгорал от нетерпения. Изучая «Полный курс рисунка» Барга, он уже добрался до третьей его части, где учащимся рекомендуется копировать портреты Гольбейна.

Винсента раздражало, что ему негде должным образом разместить рисовальные листы – слишком тесна для этого загроможденная тремя кроватями комнатуха, которую он делил с хозяйскими детьми. К тому же она была темновата. Его бы больше устроила другая комната

в доме Декрюков, но, увы, в ней хозяйка ежедневно стирала, и Винсенту ее ни в коем случае не сдадут. До сих пор он рисовал вне дома – в саду Декрюков или где-нибудь еще на лоне природы. Но надвигаются холода, а с ними одиночество и уныние, все мрачные воспоминания минувшей зимы, может ли Винсент не страшиться этого?..

В один прекрасный день, никому не сказавшись, Винсент покинул Кэм и пешком, нигде не отдыхая, пришел в Брюссель.

Он поселился в доме номер 72 на бульваре Дю Миди, в оживленном квартале, неподалеку от вокзала, и сразу же сел за письмо к родным, желая объяснить им, почему он вдруг перебрался в Брюссель, и боясь, как бы они не сочли его выходку безрассудной. «В том была насущная необходимость», – писал он Тео 15 октября, как всегда обстоятельно изложив свои доводы. И уж коль скоро отец решил «временно» назначить ему ежемесячное пособие в шестьдесят флоринов, теперь самое главное – до конца использовать возможности бельгийской столицы. Сразу же по прибытии в Брюссель Винсент ринулся в музей и, как он сам говорил в письме к родным, увидев несколько отличных картин, приободрился. Он вновь вернулся к курсу Барга, но решил дополнительно изучить также «Сборник рисунков углем» Аллонже. И все же больше всего на свете он мечтал познакомиться с художниками, которые своими советами помогли бы ему быстрее двигаться вперед. Он виделся здесь с неким Шмидтом, который рекомендовал ему поступить в Академию изящных искусств. Испытывая интуитивное недоверие ко всему академическому, Винсент отверг это предложение, но, не оставляя своей мысли, просил брата непременно связать его с кем-нибудь из художников. Что касается Шмидта, писал он Тео, то «вполне естественно, что он отнесся ко мне с некоторым недоверием, потому что я сначала служил в фирме “Гупиль”, затем покинул ее, а теперь снова вернулся в лоно искусства».

Тео взял на себя посредничество. С его помощью Винсент завязал знакомство с двумя-тремя художниками. Голландский живописец Рулофс согласился дать ему несколько уроков. А главное – однажды утром, во второй половине октября, Винсент отправился на улицу Траверсьер, неподалеку от Ботанического сада, и постучался в дверь дома номер шесть, где помещалась мастерская другого голландского художника – Ван Раппарда.

Кавалеру Ван Раппарду, выходцу из богатого аристократического семейства, было всего двадцать два года, короче, он был на пять лет моложе Винсента. Он искренне увлекался живописью, тяготел к сюжетам из жизни крестьян и рабочих, что сближало его с Винсентом. Ему довелось учиться в Утрехте и в Амстердаме, а теперь он проходил курс в Брюссельской академии. Ван Раппард был кроткий, спокойный, честный малый, Винсент с первого же взгляда понял, что это «серьезный человек», но все же усомнился, сможет ли он с Ван Раппардом срабататься. «Живет он богато», – писал Винсент брату Тео.

Завязалась дружба – поначалу несмелая, робкая. Дружба? Ван Раппарда, степенного, невозмутимого аристократа, при виде Винсента неизменно охватывало изумление. Все удивляло его в Винсенте – «мрачном фанатике», оборванце, так внезапно появившемся в его мастерской. Цельность натуры и неуемная жажда знаний, побуждавшая Винсента неустанно теревить, засыпать собеседника вопросами; неутомимая потребность проникать в сущность всякого явления, толкающая его на то, чтобы бесконечно обсуждать и оспаривать все, чему его учили. Рвение, с которым он набрасывался на работу, копируя «Анатомические эскизы для художников» Джона, после того, как он закончил Барга. Потом он возвратился к Баргу, снова скопировал все шестьдесят листов альбома, а затем переделал свои рисунки в третий раз. В промежутках он посещал музеи, где копировал картины мастеров, и в довершение всего глотал книгу за книгой – и так изо дня в день без передышки, постоянно сетуя на сопротивление натуры, угрюмо твердя, что «надо двигаться быстрее и быстрее». В присутствии Винсента Ван Раппард постоянно ощущал своего рода «гнет» – гнет неудержимой страсти, не знающей ни зависти, ни корысти и прорывающейся в прямодушных словах; гнет неожиданных гневных вспышек; гнет мрачной суровости («вызывающей дрожь») рисунков, торопливо набрасывае-

мых нетерпеливой рукой. Такая одержимость у человека, совершенно обездоленного и к тому же весьма смутно представляющего себе практическую сторону жизни, сам по себе тот факт, что бродяга, питающийся сухарями, водой и каштанами, купленными на улице, исповедовал столь величественную, всепоглощающую веру в искусство, – все это вызывало у Ван Раппарда не просто уважение, а восхищение, смешанное, однако, с жалостью и опаской. Ван Раппард жалел Винсента. Он терпел его капризы, неожиданные вспышки гнева, отмалчивался, когда Винсент выходил из себя. Человек, с которым его свела судьба, казался ему, как он сам впоследствии говорил, «прекрасным и страшным». Ван Раппард привязался к Винсенту и стремился всячески сглаживать шероховатости их повседневного общения.

В мастерской Ван Раппарда Винсент, наконец, ознакомился с законами перспективы. Он делал один набросок за другим, у него возникали все новые и новые замыслы. Но эта бешеная скачка с препятствиями осуществлялась по строгому плану. «Существуют законы пропорций, светотени и перспективы, которые необходимо знать, чтобы овладеть рисунком», – писал Винсент Тео. По этой же причине он постарался в ту же зиму приобрести «известный анатомический багаж». На пяти листах энгровской бумаги он нарисовал – по альбому Джона – скелет. «Вещь стоила мне больших усилий, но я рад, что сделал это», – признавался он. Однако, на его взгляд, одного Джона недостаточно: Винсент пойдет еще в ветеринарное училище, где, наверно, есть анатомические этюды животных. И хорошо бы также съездить в Гаагу – познакомиться с художником Мауве, с которым Ван Гоги связаны родством, а также с Терстехом!

Преодолевая недомогание (он считал его следствием лишений, которые претерпел в «угольном царстве Бельгии», но с равным основанием мог бы объяснить душившей его нуждой и постоянным перенапряжением), Винсент не ослаблял темпов работы. И все же время от времени нервы не выдерживали. Недовольный собой, своими успехами, которые, как он считал, давались ему слишком медленно, Винсент впадал в ярость.

В январе, в одну из таких «трудных минут», он спохватился, что уже несколько недель нет писем от Тео, и сердито призвал брата к ответу: чем вызвано его молчание? Может быть, Тео боится скомпрометировать себя в глазах своих хозяев, владельцев фирмы «Гупиль»? Или он опасается, что Винсент попросит у него денег? (По истечении некоторого времени Ван Гог узнал от отца, что Тео без его – Винсента – ведома все время присылал для него деньги.) В том же письме он сообщил, что почти не видится с Ван Раппардом. «Мне показалось, что он не любит, когда его беспокоят», – с обидой добавлял он. Да и вообще, пока он не сможет полагаться на собственные знания и мастерство, ему лучше «избегать общества молодых художников, которые не всегда задумываются над тем, что делают и говорят».

«Трудная минута» вскоре прошла. Почти тотчас же пожалев о своем резком письме, Винсент попросил у брата прощения: дело в том, что у него плохо шла работа, а теперь все «изменилось к лучшему». Снова и снова копируя листы Барга, Винсент одновременно рисовал с модели. Старик рассыльный, несколько рабочих парней и солдат согласились ему позировать. Написал он также пейзаж – вересковую пустошь. У него снова рождались самые разнообразные замыслы. Натура начала поддаваться. И Винсент с обезоруживающим простодушием признавался: «Мое дурное настроение улетучилось, и потому сейчас я совсем иного, лучшего мнения о тебе и обо всем на свете». Спокойно глядя в будущее, верный своим изначальным скромным притязаниям, он говорил, что надеется «оказаться более или менее способным выполнять работу по иллюстрированию газет и книг». Он думал при этом о Домье, Гаварни, Гюставе Доре, Анри Монье, хотя и не смел «никоим образом утверждать», что поднимется до их уровня. Жанр, в котором снискали себе славу эти художники, а именно изображение нравов, привлекал его в десять раз больше, чем пейзаж. Работы, которыми он восхищался, подчас содержали «страшную правду» и пленяли его своей необыкновенной выразительностью, а ведь в искусстве он видел прежде всего средство выражения. И среди этих работ его больше всего привлекали те, «где обнаруживалась со всей очевидностью бесценная жемчужина – человеческая

душа». Залог исполнения его желаний – судя по оброненным им признаниям, весьма скромных, – Винсент усматривал в неустанной работе. Надо много работать, уверял он, это основное условие. Чтобы стать художником, мало овладеть мастерством рисовальщика, «а коль скоро я начал заниматься рисунком, то уж, конечно, не для того, чтобы остановиться на достигнутом», – необходимо также изучить литературу и многие отрасли знания. Искусство всеобъемлюще – или же нет искусства. Величественное кредо – Ван Раппард не ошибся в его оценке, – но насколько оно превосходит цель, которую поставил перед собой Винсент! Величественная задача, но единственно плодотворная и вместе с тем невыносимо тяжкая. Однако Винсент радостно нес свое бремя.

В феврале он обратился к родителям с просьбой помочь ему собрать коллекцию местной одежды, в которую он хотел бы облачать свои модели: синюю блузу, какую носят брабантские крестьяне, серый шахтерский полотняный костюм, блузу из красной шерстяной ткани, рыбачью куртку, костюмы жительниц Бланкенберге, Схевенингена или Катвейка... Когда он овладеет своим ремеслом, он вернется в Боринаж, а не то поедет в какой-нибудь приморский или земледельческий край. Он расскажет о страдании человека. Раскроет его невидимую красоту и величие. Воплотит в этих образах боль, которую он сам изведal в Боринаже в тяжкую для него пору, – боль и поныне живущую в сердце. Казалось бы, он освобождается от нее, создавая свои рисунки, но она беспрестанно обновляется в глубине его души. Народная одежда, которую он мечтает собрать, на его взгляд, не просто элемент внешней живописности, местного колорита, а средство проникновения в души людей.

«Крестьянин, который видит, как я целый час, не сходя с места, рисую ствол старого дерева, воображает, что я рехнулся, и смеется надо мной, – пишет он брату. – Молодая дама, которая воротит нос от простого рабочего в залатанной, пыльной и пропахшей потом одежде, разумеется, не может понять, зачем человеку ехать к рыбакам Хейста или к углекопам Боринажа, тем более спускаться в шахту, и тоже заключает, что я сумасшедший». Сколько раз уже Винсент слышал это слово, и тут оно снова растравило его старые раны. Всякий, кто не захочет подчиниться общепринятым нормам поведения, неизбежно встретит попреки и насмешки – в этом он убедился на собственном горьком опыте. И, подлаживаясь к другим, принялся вдруг рассуждать о возможностях, которые открываются перед хорошим рисовальщиком. «Можно раздобыть неплохо оплачиваемую работу», – заверяет он родителей, приводя в качестве примера несколько цифр. Вот почему, добавляет он, силясь выказать себя человеком практичным, заботящимся о будущем, – вот почему стоит «поддерживать прочные отношения с такими людьми, как Терстех, Тео и другие».

Конец ознакомительного фрагмента.

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.